

Николай Лесков

Загадочный человек



Николай Семёнович Лесков

Загадочный человек

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175243

Содержание

Истинное событие	5
Глава первая	8
Глава вторая	11
Глава третья	14
Глава четвертая	17
Глава пятая	19
Глава шестая	21
Глава седьмая	25
Глава восьмая	27
Глава девятая	33
Глава десятая	39
Глава одиннадцатая	41
Глава двенадцатая	43
Глава тринадцатая	48
Глава четырнадцатая	51
Глава пятнадцатая	57
Глава шестнадцатая	62
Глава семнадцатая	67
Глава восемнадцатая	71
Глава девятнадцатая	74
Глава двадцатая	77
Глава двадцать первая	81
Глава двадцать вторая	84

Глава двадцать третья	89
Глава двадцать четвертая	93
Глава двадцать пятая	96
Глава двадцать шестая	102
Глава двадцать седьмая	105
Глава двадцать восьмая	108
Глава двадцать девятая	112
Глава тридцатая	115
Глава тридцать первая	118
Глава тридцать вторая	122
Глава тридцать третья	126
Глава тридцать четвертая	129
Глава тридцать пятая	136
Глава тридцать шестая	140
Глава тридцать седьмая	143
Глава тридцать восьмая	146
Глава тридцать девятая	154
Глава сороковая	157
Глава сорок первая	160
Глава сорок вторая	164
Глава сорок третья	170
Глава сорок четвертая	178

Николай Лесков

Загадочный человек

Истинное событие

*С письмом Н. С. Лескова к Ивану Сергеевичу Тургеневу
(1871 г.)*

Милостивый государь, Иван Сергеевич!

Я, весьма вероятно, не решился бы написать этого очерка, если бы Вы первый не подняли своего голоса в защиту молодого человека, злополучные приключения которого здесь рассказаны. Ваш почин в этом деле дал мне мысль и возможность несколько подробнее опровергнуть злостные клеветы, преследовавшие Артура Бенни при его жизни и не пощадившие его в некрологе, напечатанном после его смерти. Мне не раз приходилось в настоящем рассказе упоминать Ваше почтенное имя, так как Вашими добрыми мнениями о Бенни я старался подкреплять свое собственное мнение о нем, и потому первому Вам посылаю эту книгу с просьбою принять ее. Чтобы сделать эту повесть возможно полною, я, при нынешнем ее издании, воспользовался Вашими указаниями на прежние промахи и ошибки в моем рассказе и дополнил кое-что с Ваших слов и со слов П. Д. Боборы-

кина, а равно присовокупил некоторые подробности о кончине Бенни, напечатанные в трех номерах периодического издания 2-юю Якоби. Таким образом в этой книжке теперь собрано почти все, касающееся того «загадочного человека», который, при неизвестности своего происхождения и отсутствии выдающихся и крупных дарований, приобрел себе у нас самую разнообразную известность в самых разнородных кружках и которого потом неразборчивые люди предпочли оклеветать и достигли этого с таким успехом, какого, к сожалению, не достигают попытки установить настоящий взгляд на Бенни. Но тем не менее, делая еще одну и последнюю такую попытку, названную Вами в почтенном письме Вашем ко мне «делом хорошим и честным», я утешаюсь хоть тем, что отныне клевете, до сих пор с непостижимою упорностью не позабывающей Артура Бенни, уже придется иметь против себя печатное свидетельство четырех человек, то есть Ваше, госпожи Якоби, мое и П. Д. Боборыкина, выразившего мне свое намерение не оставить безотзывно этого моего опыта представить русскому обществу наглядный образец, чем оно увлекается то в ту, то в другую сторону и как у нас, благодаря шаткости общественного мнения, составлялись и составляются репутации.

Есть люди, которые смотрят на напечатание моих воспоминаний о Бенни совсем не так, как взглянули на это Вы и другие почтенные лица, сочувствие и одобрение которых

мне приятно и дорого. Нашлись господа, которым хотелось бы, чтобы Артур Бенни остался в том самом убранстве, в которое они его снарядили, сваливая всякую дрянь с больной головы на здоровую. Я получал не только укоризны, но даже угрозы не продолжать этой истории, но я ее продолжил, окончил и издаю в свет отдельною книгою, предоставляя кому угодно видеть в этом прямой ответ мой на все заявленные мне неудовольствия, а Вам я тут же, на первой странице этой книги, позволяю себе принести мою глубочайшую признательность за ту большую нравственную поддержку, которую Вы оказали мне Вашими строками, утвердив меня во мнении, что моя попытка восстановить истину в этой запутанной истории есть дело честное, к которому и Вы не остаетесь равнодушны.

Еще раз прошу Вас, принимая книгу, посылаемую при настоящих строках, принять и мою глубокую благодарность за эту поддержку и уверение в моих почтительнейших к Вам чувствах, с каковыми имею честь быть Вашим покорнейшим слугою

Николай Лесков.

С.-Петербург, июнь 1871 г.

Глава первая

Повествователи и романисты одного довольно странного литературного направления долго рассказывали о каких-то непоседливых людях, которые всё будто уезжали из Петербурга в глубь России и делали там какие-то «предприятия»; но, к сожалению, ни один из писателей этого одностороннего направления не воспроизвел сколько-нибудь осязательно-го типа упомянутых им предпринимателей, и тайна, в чем именно заключаются так называемые их «предприятия», остается для всех до такой степени тайною, что множество людей даже сомневаются в том, были ли в действительности самые предприниматели? Между тем, несомненно, что «предприниматели» такие – не совсем выдумка. Предприниматели действительно бывали, и вот один из таковых, не сочиненный и не измышленный, а живой, с настоящим его именем и в настоящем его свете и значении.

В 1870 г. в «Иллюстрированной газете» г. В. Зотова было напечатано известие о смерти некоего *Артура Бенни*, человека, приобревшего себе некогда в некоторых петербургских и московских кружках самую быструю и странную известность. Он слыл то за герценовского эмиссара и предпринимателя, то за англичанина и тайного агента одного из административных русских учреждений.

Газетное известие о смерти этого человека слово в сло-

во заключается в следующем: «Скончался Бенни, английский подданный, высланный за границу (России) по определению правительствующего сената. Владея хорошо русским языком, Бенни участвовал в некоторых наших периодических изданиях: „Русской речи“, „Северной пчеле“, „Книжном вестнике“. О нем ходило много толков, так как никто не знал, зачем он прибыл в Россию. Некоторые из этих толков были неблагоприятны для него. В последнюю Римскую кампанию он поступил в отряд гарибальдийцев и убит при Ментане».

Иван Сергеевич Тургенев, знавший покойного Бенни за человека честного, вступился за оскорбление его памяти намеком, кинутым на нее упоминанием о тех толках, которые, по словам некролога, «были неблагоприятны для Бенни», и напечатал в другой газете, что покойный Бенни был человек чистый и неповинный в том, что столь недостойно на него возводилось.

Вот и все краткое сказание о жизни и смерти человека, деятельность которого в России не лишена самого живого интереса и лучше всякого вымышленного направленного романа знакомит нас с характерами деятелей недавно минувшего, беспокойного и оригинального времени. Но, прежде чем мы дойдем до того рода деятельности Артура Бенни, которая давала повод досужим людям выдавать его то за герценовского эмиссара, то за шпиона, скажем два слова о том, кто таков был взаправду этот Бенни, откуда он взялся на пе-

тербургскую арену и какими путями доходил он до избрания себе той карьеры, которою сделался известен в самых разнообразных кружках русской северной столицы.

Все, что далее будет следовать за сим, изложено частию по личным воспоминаниям автора и свидетельствам других, вполне достоверных очевидцев, частию же по рассказам самого покойного Бенни, с которым автор состоял в долгих и прочных дружеских отношениях, не прекращавшихся до высылки Бенни из России. Автор не скрывает, что, печатая, может быть, несколько рано этот свой очерк, он имеет желание очистить честную память Бенни от возведенных на него зlostных и бесчестных клевет. Автор просит верить ему, что он не вынужден для оправданий Бенни прибегать ни к каким утайкам и натяжкам, да это было бы и невозможно, потому что в литературных кружках Петербурга и Москвы теперь еще слишком много живых людей, которым история покойного Бенни известна, если не во всем целом, как она здесь излагается, то по деталям, из которых сгруппировано это целое. Ни лжи, ни лести здесь нет, да их и не нужно: пусть где Бенни был ребячлив и смешон, пусть он там таким и останется, дело не в его ребячливости или его серьезности, даже и не в его уме, а в его честности и отчасти в занимательности и поучительности его странной судьбы.

Глава вторая

Артур Бенни убит в самой цветущей молодости. Ему и теперь не было бы еще двадцати восьми лет.¹ Некоторые в Петербурге утверждали, что имя «Артур Бенни» – есть имя вымышленное и что человек, который жил здесь, между нас, под этим именем, есть *подольский шляхтич Бениславский*: это выпустил в Петербурге покойный г-н Европеус, но это неправда. Артур Бенни *действительно был Артур Бенни*. Он родился в Царстве Польском, в местечке Томашове-Равском, где отец его, Иоганн Бенни, был пастором томашовского евангелического прихода. Старик Бенни пользовался прекрасною репутациею и умер в 1862 году. Мать Артура Бенни, природная англичанка, была жива еще, когда вышло в свет это правдивое повествование. У Артура Бенни остались также братья: старший Герман (впоследствии томашовский пастор), и младший, Карл (медик, обучавшийся в Париже и ныне практикующий в Варшаве). Кроме этих двух братьев у него живы две сестры – Анна и Мария. Все это настоящие члены настоящего, а не вымышленного, и весьма почтенного семейства покойного томашовского пастора.

Несмотря на то, что семейство Бенни народилось и жило в Польше, дом Бенни оставался всегда домом английским; их

¹ Писано в начале 1870 года. (Прим. Лескова.).

домашние нравы, обычаи – все это было чисто английское, и английский язык был их домашним языком. Десятилетним мальчиком Артур Бенни был отведен в польскую гимназию, в город Пиотрков, и поступил прямо в третий класс. Это был первый выход Артура Бенни из дома своего отца – из того дома, в котором он, живучи в Польше, мог гораздо удобнее воображать себя римлянином, афинянином или спартанцем, чем поляком, ибо воспитанный отцом своим, большим классиком, Артур Бенни о Риме, Спарте и Афинах знал в это время гораздо больше, чем о Польше. По рассказам покойного Бенни (которых он никогда не давал повода заподозреть ни в малейшей несправедливости), он в доме отца своего совсем не знал польского характера, а придя в соприкосновение с своими польскими сверстниками в пиотрковской гимназии, не умел ни на чем сойтись с ними и с первого же раза *не полюбил их*.

– Я, – говорил Бенни, – услышал от этих детей ложь, хвастовство и льстивость, которых я никогда не слышал в доме отца моего, где никто никогда не лгал и не лукавил. При этом у них бывали часто такие бесстыдные разговоры, что это мне было противно. А более же всего я решительно не мог выносить высокомерного и презрительного отношения этих мальчиков к простолюдинам и особенно к их собственным слугам, с которыми у нас в доме всегда было принято обращение самое мягкое.

Бенни был ребенок очень нежный, впечатлительный и

способный увлекаться до бесконечности. В то самое время, когда им овладевало негодование на своих товарищей-мальчиков за их высокомерие с простолюдинами, рядом с этим в его нежную душу западало безграничное сожаление к самим этим простолюдинам, которые силою обстоятельств поставлены были в необходимость переносить господское высокомерие. Что это за сила обстоятельств? – рабство и бедность, – бедность рабства и рабство бедности. (Так решило себе дитя.) Кто же создал такое положение? Для кого оно выгодно? Для кого оно нужно? Кто может желать его сохранения? Виновниками такого положения выходили, разумеется, помещики и вообще капиталисты. Нежное и восприимчивое дитя, дойдя путем своих размышлений до такого решения, нашло в своем детском сердце для людей, создавших такое положение другим людям, место непримиримой вражде, и с тех пор в ребенке росли все необходимые задатки для того, чтобы из него под известными влияниями со временем мог создаться настоящий, искренний и ревностный демократ и социалист.

Обстоятельства этому благоприятствовали.

Глава третья

В то самое время, когда Артур Бенни, соболезуя своим отроческим сердцем о неравномерности распределения на земле прав и богатств, ломая себе голову над изобретением таких форм общежития, при которых бы возмущавшая его неравномерность не могла иметь места, – в Польше стояло много русских войск, и один полк или один отряд их был расположен в Пиотркове. Несколько солдат из этого отряда квартировали в том самом доме, где жил ученик Артур Бенни. Случилось так, что когда он, вообще чуждавшийся в то время своих товарищей, сидел однажды на дворе, где играли его сверстники, на этот же двор выполз подышать воздухом какой-то больной русский солдат и лег на солнышке, на куче сваленных на дворе бревен. Расшалившиеся польские мальчишки, товарищи Бенни, заметив обессиленного, больного русского солдата, стали кидать в него мячом. Мальчишки делали это как будто ненарочно; но Бенни знал, что они это делают с умыслом, чтобы досаждать больному. Благовоспитанному сыну томашовского пастора такой поступок представился крайне неблагородным. Бенни не вытерпел и сказал товарищам, что они поступают дурно и *«не по-рыцарски»*. Мальчишки отвечали ему, что он сам уж *«za nadto gycerz»* (чересчур рыцарь), что он, как поляк, не должен поступать по-рыцарски с москалем.

– А я, – рассказывал, смеясь, Бенни, – полный в то время прочитанных мною повестей о славных рыцарях и великих людях древних и новых времен, всегда поставлял себе задачей подражать этим людям. У нас, в нашем томашовском саду, были и свои замки, и свои рыцарские уставы, и все мы, братья, были «рыцари», а сестры наши дамы. Поэтому, привыкнув дорожить «рыцарством», я вспылал, что будто можно быть «рыцарем чересчур». Мне этот солдат, из-за которого началось дело, конечно, был совсем чужой человек по всему; но тут я вдруг просто полюбил его. «Москаль не стоит сожаления»... Мне сейчас же припомнилась известная американка, которая сказала, что если хотя три человека будут осуждены на вечное мучение в аду, то она будет просить, чтобы она была четвертая, и я, почти не помня себя от гнева, ответил, что если, будучи поляком, нельзя быть рыцарем, то я лучше не хочу быть и поляком...

– Впрочем, – продолжал Бенни, – я и успокоюсь не чувствовал особенной опрометчивости в этом ответе. После мне только было досадно, что я оскорбил национальное чувство моих товарищей, но сам для себя я не чувствовал никакой неловкости от того, что отрекся быть поляком. Я, напротив, был очень рад почувствовать после этой сцены, что я не имею решительно никаких национальных пристрастий и что у меня *нет никакого отечества* – что для меня просто милы и дороги люди, – что я люблю все скорбящее и бедствующее человечество.

Таким образом, юный демократ и социалист отыскал в себе и еще одно новое свойство, пригодное для воспитания в нем совершеннейших социалистических симпатий: он был *космополит*, и (что всего реже) Бенни был космополит самый искренний, а не напускной, до первой кости. Да и удивительно ли было ему чувствовать себя космополитом? Отец Бенни (известный гебраист) жил в земле чужой, и родство у Бенни по мужской линии было еврейское; мать его была англичанка, не знавшая и даже, кажется, не изучавшая языка той страны, где ей довелось жить; он сам родился в Польше, стране, подвластной России и ненавидящей ее, – какое, в самом деле, могло быть отечество у такого, так сказать, беспочвенного гостя земли? Ему всего легче было чувствовать себя *гражданином вселенной*, – он так себя и чувствовал.

Глава четвертая

Усвоив себе эти чувства, Бенни не стал скрывать их от своих польских товарищей и, в доказательство своего равнодушия к патриотической польской нетерпимости, часто ходил беседовать с квартировавшими с ним на одном дворе русскими солдатами. От одного из этих солдат он узнал, что в России есть такая вещь, как *общинное владение землею* у вольных крестьян. Бенни это поразило! Та форма общежития, о которой он мечтал и которую собирался отыскивать, была уже открыта, и притом открыта простыми людьми, и людьми той национальности, которую вокруг него все не уважали, называли варварскою и всячески ее порочили и осуждали. За что же осуждать такой народ, который любит и удерживает такие, как находил мальчик, беспримерно хорошие учреждения? Бенни, напротив, почувствовал с этого времени симпатию к России и весь предался изучению русского языка и русской истории.

– В классе надо мною за это смеялись, – говорил покойник, – и даже строго осуждали мое внимание к России; но дома, приезжая на каникулы, я весь отдавался моему любимому чтению об этой стране с таким восхитительным земельным устройством.

Таким образом, при непрерывном чтении, Бенни дочитался до более ясных определений русской круговой пору-

ки, общины и артели (которыми, здесь можно кстати сказать, покойный всегда бредил, идеализировал их и никогда не понимал их как следует).

– Не знаю, – говорил Бенни, – и не помню, что за критический взгляд проводился на эти формы русской жизни теми заграничными писателями, у которых я все это вычитал; но помню, что и артель, и община, и круговая порука мне нравились все более и более, и я, с одной стороны, сторал нетерпением увидеть, как живут люди в общине и в артели, а с другой – приходил в отчаяние, как честные люди всего мира не видят преимуществ такого устройства перед всякими иными организациями? Я был твердо убежден, что русская община со временем будет понята и усвоена всем миром, и тогда на свете будет конец пролетариату. Я решил и всегда потом чувствовал, что отсюда начнется исполнение пророчества Иезекииля о приближении времени, когда «все мечи раскуют на орала». *«Жизнь мою, – говорил Бенни, – я тогда же определил положить за успех этой задачи».*

Все это так и осталось вечною его задачею, к осуществлению которой он постоянно рвался горячо, искренно, со всем пылом настоящего фанатика и со всею бестактностью юного теоретика.

Глава пятая

Артур Бенни окончил гимназический курс очень рано, чуть ли не пятнадцати лет, и был послан для продолжения своего образования в Англию, под надзор одного из братьев своей матери. В Лондоне он доучился и потом поступил в английскую службу инженером, в вувличский арсенал.

– Мне жилось бы прекрасно, – говорил Бенни, – если бы для меня *«прекрасно»* выражалось в том, что у меня есть все нужное, а впереди – ровная, хорошая служебная карьера; но такая жизнь была далека от моего идеала жизни.

Русские симпатии Бенни повлекли его в Лондоне к сближению с тогдашним лондонским русским революционным кружком. Бенни познакомился с покойным Александром Ивановичем Герценом (Искандером), с Бакуниным, с Огаревым, с возвратившимся после на родину и писавшим свои покаяния эмигрантом Василием Ивановичем Кельсиевым и со многими другими революционными людьми, группировавшимся в то время в Лондоне вокруг Герцена. В доме Герцена Бенни был принят приятельски и, кроме того, давал некоторое время какие-то уроки дочери покойного Герцена, Ольге Александровне, – кажется, он учил эту молодую девушку языкам, так как он, при хорошем общем классическом образовании, был большой и довольно просвещенный лингвист. О том же, как он должен был казаться приятным

детям, нечего и говорить, так как это был человек образцовой мягкости, благовоспитанный, нежный, честный, много начитанный, беззаветно веселый и бесповоротно самоотверженный. Одним словом, герой для самого восторженнейшего романа!

Сближение юного, пылкого и решительного Артура Бенни с герценовским кружком имело решительное влияние на позднейшие судьбы пылкого юноши.

Следует не забывать, что все то, о чем мы рассказываем, для Бенни возымело свое начало еще в эпоху бывшего в России крепостного права, которому хотя тогда и наступили уже последние дни, но кончине которого даже и здесь, в России, еще плохо верилось. В Лондоне же тогда всевластно господствовало убеждение, что единственный путь спасения России от крепостного права, злосудия и произвола есть социально-демократический переворот, а переворот этот надо произвести посредством народного восстания против правительства и при этом порешить помещиков. Одним словом – это относится еще к поре столь памятного, хотя совсем не беспристрастно растолкованного герценовского воззвания: «К топорам!»

Глава шестая

Так как вся революция, которая считалась иными тогдашними нашими политиками столь необходимою и сбыточною и замышлялась будто бы на пользу тех великих форм русской народной жизни, в которые был сентиментально влюблен и о которых мечтал и грезил Артур Бенни, то он, как боевой конь, ждал только призыва, куда бы ему броситься, чтобы умирать за народную общинную и артельную Россию, в борьбе ее с Россиею дворянскою и монархическою. В Лондоне же, из тамошних русских революционных людей, настоящих охотников столь рьяно и безрасчетно искать смерти за мужицкую Русь не находилось, или, по крайней мере, они не выступали. Тогда еще только *говорили*, а ничего *не делали*. (Поездки в Норвегию Герцена-сына и Бакунина, равно как и приезд в Россию Василья Кельсиева с паспортом турецкого подданного Янини – все это дела дней позднейших.) В то же время, которого это касается, опять повторяю, в Лондоне *только говорили* о революциях *да писали*, а к делам вовсе не приступали. Нетерпеливого юношу Бенни это чрезвычайно огорчало: он становился беспокоен, назойлив, рвался и напрашивался на дело. Он вообще был не из говорунов и фразерства терпеть не мог, а потому, чтобы избавиться от его порывов к делу, его непременно надо было или пускать в ход, или скорее вовсе с рук спустить. Можно

полагать, что Бенни своею пылкостью и назойливостью начал надоедать своим русским лондонским друзьям, но сам он, тогда нетерпеливо ожидая похода на Россию, ничего этого не замечал. Он только томился перед вопросами: «когда же?» и «скоро ли?» Но те, к кому приступал он с этими вопросами, спешили потихоньку и только ораторствовали в интимных беседах и на больших выходах. Эта медлительность и равнодушие лондонских революционных зачинщиков повергала Бенни в отчаяние. Он тем больше кипятился, что в это время в России правительство уже освободило крестьян с земельными наделами, задумало дать гласный суд и ввести другие реформы, при которых доказывать русским людям настоятельную необходимость революции становилось день ото дня все труднее и труднее. В это время, как нарочно и как на горе Бенни, подвернулся следующий незначительный случай. Один русский сибирский купец прибыл по своим торговым делам в Лондон. (Имя его – секрет Полишинеля.) Проездом через Париж он там схороводился кое с кем из русских распространителей «Колокола», разболтался с ними, разлиберальничался и, столкнувшись потом с ними в Лондоне, где они желали представиться Герцену, он и сам ощутил в себе потребность исполнить эту церемонию. Представившись Герцену, заезжий сибиряк познакомился через него с прочими людьми лондонской революционной семьи, собиравшейся у Герцена при его больших выходах. В числе этих новых знакомств сибирского гостя оказался и Артур

Бенни. Увлечшись заманчивостью своего нового положения и находясь под обаянием ласк самого Герцена (чем тогда дорожили и не такие люди), сибирский купец на время позабыл, что он приехал в Лондон, как говорится, «по своим делам», а вовсе не для того, чтобы вертеться около г-на Герцена. Он начал добродушно лисить перед всеми людьми герценовского кружка и, с свойственной русскому человеку лукавинкою, сейчас смекнул, как ему здесь держать себя, чтобы на него глядели получше. Он стал говорить, что прибыл в Лондон именно с тем единственно, чтобы завязать здесь с самим Александром Ивановичем и с его верными людьми хорошие и прочные связи на жизнь и на смерть и затем, уехав в Сибирь, служить оттуда, из дома, тому самому делу, которому они служат здесь, в Лондоне. «Дескать, поручите мне что вам угодно: перепечатывать ли там, в Сибири, герценовский „Колокол“, – будем „Колокол“ перепечатывать; или издавать прокламации, каких потребуют обстоятельства, и на это, говорит, готов: прокламации будем издавать».

Одним словом, готов человек вести в Сибири социально-демократическую пропаганду и рыть подкопы против существующего правительства, которое (как тогда было решено) освободило крестьян скверно и само ничего не способно разрешить удовлетворительно и сообразно с выгодами народа.

В Лондоне предпочли всему одобрить перепечатку «Колокола» и распространение его в Сибири. Сибиряк с полной

готовностью взялся и за то и за другое и заверял, что Сибирь непременно очень скоро взбунтуется.

Одного сибирскому социалисту якобы не доставало: грамотного, представительного и смелого человека, который бы взял на себя труд по затеянной перепечатке в Сибири «Колокола». Купец, раскинув здравым умом, вероятно рассчитывал, что охотника взяться за такое дело в Сибири, в числе живущих в Лондоне людей, конечно, не найдется ни одного, и он только повздыхает перед лондонцами своими гражданскими вздохами, что «вот все бы де так; я на все готов, но людей нет», да все тем и покончится.

«Так, мол, это господь милосердый и пронесет, и вернемся мы опять к своим делам, и станем жить да поживать, да добро наживать. Надую, мол, всех вас в одно слово, да и только».

Но не тут-то было: купец промахнулся. Он все соображал, прикидывая всех на масштаб тех революционеров, каких ему случалось видеть в России и частью в Париже, а не знал, какие антики водятся в Лондоне.

На этом его бог и попутал.

Глава седьмая

Не успел купец попечаловаться, что он не имеет человека для перепечатывания в Сибири «Колокола», как ему сейчас же с оника был предложен для этого дела человек, способный и готовый положить свою голову и душу за демократическую Россию. Человек этот был Артур Бенни.

Купцу-социалисту, захваченному такою напастью врасплох, в Лондоне некуда было от этого попятиться. Он увидел, что попался очень крепко, но тотчас же понял, что отпираться ему неловко и что, пока он здесь, в Лондоне, ему надо себя выдержать. Он решился принять предложенного ему революционного агента и провезть его с собою в Россию в качестве инженера, нужного будто бы для его сибирских фабрик и заводов. Артур Бенни торжествовал. Он радостно прощался с Англиею и оставлял без малейшего сожаления свое место при вувльвичском арсенале, где он получал около 500 фунтов жалованья (по позднему курсу около 5000 рублей серебром на наши деньги). Артур Бенни достал себе английский паспорт, в котором значился *«натурализованным английским субъектом»*, и снаряжился в путь с своим русским принципалом в Россию.

Купец отплывал с Бенни совершенно спокойно, потому что у него уже был столько же простой, сколько оригинальный и верный план, как ему развязаться и с транспортируе-

мым им революционером и со всею задуманною в Лондоне революцией в Сибири.

Перевалившись на континент Европы, сибиряк, которому приснастили Артура Бенни, тотчас же несколько попустил с своих плеч революционную хламиду. Прежде всего во Франции он захотел, что называется, «пожуировать своею жизнью». Девственный Бенни был для этого самый плохой компаньон: он не любил и даже не выносил вида никаких оргий, сам почти ничего не пил, в играх никаких не участвовал, легких отношений к женщинам со стороны порядочных людей даже не допускал, а сам и вовсе не знал плотского греха и считал этот грех большим преступлением нравственности (Артур Бенни был *девственник*, – это известно многим близко знавшим его лицам и между прочим одному уважаемому и ныне весьма известному петербургскому врачу, г-ну Т-му, пользовавшему Бенни от тяжких и опасных болезней, причина которых лежала в его *девственности*, боровшейся с пламенным темпераментом его пылкой, почти жгучей натуры). Купцу же, в свою очередь, не нравилось такое целомудрие, и он без церемонии говорил Бенни:

– Экой же ты, брат, шут, что не знаешь ты самого хорошего, без чего жить нельзя! Ты примеряйся, а то мы таких не любим.

Артур Бенни, дорожа своим русским революционером, скрепя сердце, отшучивался, нраву его не препятствовал, и заочевали они с ним из столицы в столицу Европы.

Глава восьмая

Купец распился и безобразничал, – Бенни смотрел с отвращением на его дикие оргии, но все терпел. Переносясь из страны в страну, купец даже нашел средство извлекать себе из следовавшего за ним Бенни изрядную пользу. Он отпустил в Париже своего наемного переводчика, которого до сей поры возил с собою, и обратил в переводчика Бенни, разумеется, без всякого ему за это вознаграждения.

Купец не спешил в Россию, а Бенни, следуя за ним, прокатал почти все свои небольшие деньги и все только удивлялся, что это за странный закал в этом русском революционере? Все он только ест, пьет, мечет банки, режет штоссы, раздевает и одевает лореток и только между делом иногда вспомнит про революцию, да и то вспомнит для шутки: «А что, мол, скажешь, как, милый барин, наша революция!»

Будь на месте Артура Бенни сопутником этого сибирского купца какой хотите не совсем бестолковый человек, не наштигованный и не наученный лондонскими знатоками русского народа видеть в каждой наглости, грубости и глупости простого русского человека черту особых, одному русскому простолюдину свойственных, высоких качеств, этот человек давно бы увидел, что его дурачит дурак и бросил бы этого дурака посреди его дороги. Но Бенни уже так было наказано, что революционнее русского раскольника нет никого в мире

и что как он, этот раскольник, по своей непосредственности, ни чуди и ни юродствуи, а уже против него никто не постоит ни в уме, ни в твердости, ни в рассудке. В то наивное время так верили и не в одном Лондоне. Так точно верил и простодушный Бенни и все терпел от своего безобразника; но, наконец, купцу надоело разъезжать да пьянствовать; подошло время ехать домой. На пути в Россию ему оставался один немецкий Берлин; нужно было только взять на железной дороге сквозной билет в Россию, и переводчик с иностранных языков купцу больше не нужен. Купец взглянул на Бенни и решил, что уже тут пора ему с ним и кончить.

– Думал было я его сбросить где попало по дороге, – рассуждал сибиряк, – да поманулося мне, что он на все языки знает, и завез его вот как далеко.

Тогда сибирский социалист, много не обинуюсь с Бенни, сказал ему: «Куда же это мы теперь с тобою, милый барин, подъехали?»

– Мы в Пруссии, – отвечал Бенни.

– Знаю, что в Пруссии, да кой нас, прости господи, лукавый вместе сюда занес? Ведь из самой из этой Пруссии летят к нам гусии нашу пшеницу клевать.

– А что? – спросил удивленный Бенни.

– Да ведь говорю же тебе что. Да еще вон я теперь вспомнил, что их король-то с нашим государем и посейчас в родстве!

Изумленный Бенни смотрел на своего спутника, недо-

умевая, что он хочет этим сказать, и, наконец, спросил его, что же такое из этого следует, что прусский король в родстве с русским государем?

– А то следует, – отвечал купец, – что ехал бы ты теперь, немчик, отсюда назад.

– Как назад? – спросил с удивлением произведенный в немчики Бенни.

– А так, что ведь тебе у нас по-настоящему делать совсем нечего: я с тобою не поеду, да и всего этого, что я вам говорил, ничего не будет, – объявил он Бенни и добавил, что все, что он там, в Лондоне, рассказывал, то это было как во сне, и он сам ничего этого теперь не вспомнит.

– А к тому же, – говорит, – мы и сами в своем месте не последние капиталисты, и нас-де и хорошие люди, благодаря бога, не за пустых людей почитают, да есть, мол, у меня и жена, и дети; ну, одним словом, не хочу делать революцию да и все тут, и ступай, немчик, назад.

Бенни стал уговаривать купца, чтобы он хоть только к своим делам его в Сибирь взял.

– Нет, и этого, – говорит, – душа моя, никак невозможно: потому у меня братья – простецы, необразованные; им этих наших с тобою политических делов ни за что не понять... Нет, и не собирайся, ни за что нельзя.

Бенни пустился уговаривать его, что никаких политических предприятий в их доме не разовьет, что он только хочет взглянуть на Сибирь и познакомиться с нею; но сибиряк

стал на своем, что и этого нельзя, да и не стоит.

– Чего ее, – говорит, – и смотреть, Сибирь-то? Ее у нас только поневоле, за наказание смотрят, сторона ссыльная да глухая, а у меня опять тоже и матушка с батюшкой такие же люди старозаконные; а ты, кто тебя знает, какой веры; они с тобою за стол не сядут, а там еще, помилуй бог, что откроется... Нет.

В общем выводе выходит опять: «Ступай, немчик, назад, да и все тут».

– Въедемте же, по крайней мере, хоть вместе в Россию? – уговаривал его Бенни; но купец и от этого отказался и самым решительным образом запротестовал против того, что Бенни везет на себе множество листов «Колокола», с которыми его могут поймать на границе.

– Но ведь это все только меня будет касаться, а не вас, – отвечал агитатор.

– «Не вас», – отозвался купец. – Ага! вы ведь думаете, что у нас небось, как у прочих, как в Англии, слабости в начальстве-то. Нет-с, у нас на это честно: у нас как прижучат, так вы тогда и про меня скажете. А мы с вами давай лучше добром здесь расстанемся; вот почеломкаемся, да и бывайте здоровы. Ей-богу, так лучше.

Бенни посмотрел на своего партнера и холодно отвечал ему, что ему нет дела до его соображений и что он все-таки поедет в Россию.

– Да вы, пожалуй, если охота пропадать, так и поезжай-

те, – говорил купец. – Только вместе нам ехать не надо; а то поезжайте.

Бенни еще суше заметил, что он поедет когда захочет.

– А ну, если вы от меня тут добром не отстанете и поедете вместе со мною, – зарешил купец, – так я – вот рука отсохни – как на границу взъеду, сейчас и укажу, чтобы вас обыскали.

Бенни понял все значение этой угрозы и отстал от своего политического русского единомышленника в Берлине.

– После отхода поезда, с которым уехал мой купец, – говорил Бенни, – я, признаюсь, долго думал: зачем же этот человек взманивал меня, зачем он меня вез и что это такое он теперь сделал? Я ничего этого не мог себе разрешить и чувствовал только, что, вероятно, еще ни один революционер в мире не был поставлен в такое смешное, глупое и досадное положение, в какое поставлен был я. Я был жалок самому себе и самого себя ненавидел; но возвращаться не хотел. Меня словно что-то роковое неодолимо тянуло в Россию.

Возвращаться назад, в Лондон, Бенни, кроме того, казалось чрезвычайно смешным и даже невозможным, да и к тому же, как сказано, он хотел видеть Россию. Теперь посмотреть Россию ему казалось даже еще необходимее, потому что ему хотелось удостовериться: много ли в России сибирских купцов, вроде его дорожного спутника, и познакомиться с теми лучшими петербургскими людьми, из которых он с одними встречался у Герцена, а о других много слышал как о людях развитых, серьезных, умных и держащих в своих ру-

ках все нити русской социально-демократической революции. Стало быть, стоит доехать в Петербург, сойтись с этими людьми, и снова можно попасть другим путем в то же самое дело. Бенни так решил и с остатками своих деньжонок махнул из Берлина в Россию участвовать в здешней социально-демократической революции.

Глава девятая

Люди, к которым Бенни явился в Петербурге, спервоначала очень обрадовались такому гостю. Свел Бенни с этой партией некто умерший под арестом в крепости акцизный чиновник Ничипоренко, а к Ничипоренке Бенни явился потому, что знал об этом жалком и в то же время роковом человеке от В. И. Кельсиева, с которым Ничипоренко был товарищ по воспитанию в петербургском коммерческом училище и поддерживал перепискою с ним непрерывные сношения. Здешние молодцы (теперь уже одни старцы, а другие покойники), с которыми Ничипоренко свел Бенни, приютили его и без меры радовались, что к ним прибыл «герценовский эмиссар». Другого имени Бенни не было, и отсюда он так и пошел *герценовским послом*, пока потом теми же самыми людьми был объявлен *шпионом*.

Бенни до самой последней минуты утверждал, что он никогда и нигде не выдавал себя за герценовского посла, и не знает, кто *первый* выпустил этот слух; но с другой стороны утверждалось, что он будто когда-то называл себя этим титулом, и это было поводом ко многим неприятностям для горячего и легкомысленного юноши (Бенни впоследствии два раза писал Герцену и просил его вступить за него и оправдать его, но Герцен этого не сделал. Почему? Бенни говорил, что Герцен не хотел нарушать согласия в здешних кружках,

и это было источником многих горестнейших для Бенни минут).

Но вот и здесь, в Петербурге, с Бенни открылась та же забота, что была с ним в Лондоне: эмиссару надо дать занятие, достойное герценовского посла: надо было показать ему, что вся русская революция, о которой тогда били тревогу за границу, тут уже совсем на мази, что все здесь и ключом кипит, и огнем горит, и что еще денек-другой, да и *«завтра бой»*. А между тем дел-то, собственно говоря, как известно, не было почато никаких, да и никто не знал, как их еще и починают. Знали, что во время революций люди сходятся на площадях, и вздумают: «Может быть, и нам бы на площадь?» – и согласятся сойтись на площадь. А как опять это администрировать, чтобы сойтись на площадь, даже и об этом не было ни у кого ни малейшего понятия.

Все, что умели делать тогдашние революционеры, заключалось разве в том, чтобы, едуци с извозчиком, наговорить ему, сколь много стоит армия или чего стоят дворцы; или же дать солдатику почитать «Колокол». Больше же никто ничего не умел делать, чем вполне и объясняется, что в романах и повестях, где выводились люди, устраивающие революцию, глухо говорилось, что люди эти *поехали делать предприятие*, а как это «предприятие» надо делать? – того никто не знал. Гораздо спустя, только уже у позднейших, далее развившихся писателей встречаем, что *предприниматели* шныряют по городам, сидят где-то в слободках и все пишут до

бела света, но и эти позднейшие писатели все-таки опять не могли придумать, что такое именно пишут их предприниматели, и оттого эти герои их опытному человеку всего более напоминали собою нарочных чиновников, секретно поверяющих ревизские сказки. Артур же Бенни, несмотря на свои юные годы, был в революционных делах человек если не очень опытный, то, по крайней мере, наслышанный и начитанный: он видал в Лондоне избраннейших революционеров всех стран и теоретически знал, как у людей распочинают революции и что для этого нужно. Первое, что он посоветовал своим новым политическим друзьям (Н. Курочкину, В. Якушкину и С. Громеко), заключалось в том, чтобы они пробовали от времени до времени делать примерные «маневры». Его долго уверяли, что этого вовсе не надо, что у нас это все делается без всяких планов и маневров; но он, однако, упросил сделать распоряжение, чтобы в назначенный день и час все люди, преданные в Петербурге делу революции и готовые к ней, прошли по одной из известных петербургских площадей. Над этим смеялись, находя все это совершенно ненужным; уверяли, что у нас и на козла посмотреть тысячи народу собирается; но, однако, из снисхождения к прихоти англичанина сделали для него распоряжение о маневрах.

«Англичанин, да эксцентрик, – пусть-де его тешится!»

Ни одному из хитрых людей, недоумевавших, зачем нужен Бенни этот смотр, и в голову не бросилось, что англи-

чанин не прихотничает, а просто хочет поверить самих их, революционеров.

Сколько мол их? Не лгут ли они?

Маневры были назначены, и на них явилось *три* человека по инфантерии (в том числе Громека) и *два* на извозчике, чтобы легче удирать (они-таки, поворотив, и далеко удрали, но *в гору*, а не под гору, куда скатился злополучный эмиссар, производивший им смотр, стоя у магазина Дациаро). Бенни пересчитал всех пятерых храбрецов, рискнувших пройти и проехать, и нашел, что наличная петербургская революционная армия еще не довольно сильна, чтобы вступать в открытый бой с императорскими войсками, и притом довольно плохо дисциплинирована. Бенни понял, что хозяева его лгут, что в Петербурге по революцию еще и кони неседланы и что все, что в Лондоне и здесь рассказывают о близости революции в России, есть или легкомысленный обман, или злостная ложь.

После этого смотра, или этих маневров, и Бенни, и те, кто должен был репрезентовать чужеземному революционеру домашние русские революционные силы, внезапно почувствовали, что им стало не совсем ловко смотреть в глаза друг другу.

Неудачность маневров старались приписать тому, что Бенни новое лицо и что ему не все доверяются; Бенни показал, что он этому верит; но он прекрасно понимал, что это одна увертка. Теперь он, при всей своей детской доверчиво-

сти, видел уже и то, что люди, бредящие в Петербурге революциею, совсем люди не того закала, какой требуется для революций, и отписал об этом со всею искренностию, кому находил нужным, в Лондон. По поводу писем, в которых все это было описано и которых недаром имели основание бояться здешние революционеры, произошла история. Бенни долго выжидал случая отправить эти письма с благонадежным человеком. Здешние революционеры навязчиво предлагали ему свои услуги для отправки этих писем: им хотелось или совсем удержать их у себя, или, по крайней мере, подпечатать их и прочесть. Бенни очень легко предвидел эту хитрость. Он принял эти услуги, но не для того, чтобы ими воспользоваться, а для того, чтобы только испытать людей, с которыми ему довелось иметь дело. Он отослал свои письма в Лондон с знакомым ему английским шкипером, а написал два другие малозначащие письма для передачи его родственникам, и эти-то два письма и вручил своим петербургским друзьям (Н. Курочкину и Ничипоренко), которые вызывались переслать его корреспонденцию через верные руки в Лондон. Петербургские политические друзья играли с Бенни, а он играл с ними. Искренности, нужной для согласных действий, между ними уже не было никакой; они уже с этих же первых дней боялись друг друга и друг с другом хитрили. Питерцы чувствовали, что они взаправду совсем не революционеры и что Бенни, пожалуй, все это заметил в них и отписал об этом, и потому они хлопотали захватить в свои

руки его письма. Дескать: «Распечатаем их, прочтем и тогда сами предупредим его и *его опишем* как нельзя лучше». Бени же, читая насквозь этих дипломатов, с таинственнейшим видом вручил им, в одном большом пакете, письма, содержание которых резюмировалось фразой: «Кланяйтесь бабушке и поцелуйте ручку».

Глава десятая

Между тем, чтобы не терять попусту своего времени в Петербурге, Артур Бенни пожелал проехаться по России. Он хотел посмотреть, что за народ сидит там, в глубинах русских трущоб, и посчитаться, с кем там придется вести дело, если бы затеялась революция. На это петербургские предприниматели говорили Артуру Бенни, что в провинциях статья эта уже давно обработана, что Поволжье готово все встать как один человек и что в Петербурге есть такие знатоки русского мира, которые *«всё знают»*; но Бенни уже не верил своим политическим друзьям и все-таки собирался на ярмарку, в Нижний Новгород. Видя его непреклонность, с ним перестали спорить, но для сопровождения его и для руководства его в ознакомлении с страной снарядили того же юркого и чрезвычайно в то время популярного акцизного чиновника Андрея Ничипоренко. Этот молодой человек, имя которого нам уже приходилось вспоминать выше, в то время в некоторых петербургских кружках пользовался славой первого русского революционера. Особенно он был силен у низших и высших чиновников некоторых канцелярий, где сидели наилучшие герценовские корреспонденты из Петербурга, которых этот Ничипоренко всех потом и перепутал. Он-то, сей самый Ничипоренко, и был избран ментором к молодому, неопытному и восторженному Телемаку. Их снабдили реко-

мендациями (даже П. И. Мельников в этом участвовал), и даны были наставления: как, куда ехать, с кем повидаться, к чему прислушаться. Кроме того, им даны были и особые поручения привезти сюда с ярмарки по оказии некоторые мелочи: кому кальян, кому кавказского вина, кому другие подобные хозяйственные безделушки. Забыли им дать только одного – денег, но зато им было внушено, что они могут отлично ездить и без денег, зарабатывая все нужное на путевые издержки корреспонденциями, которые здешние друзья их взялись пристраивать в газеты. Ничипоренко сразу и сам убедился, что это действительно очень легко, и умел в этом убедить и Артура Бенни. Ментор и Телемак забрали в сакво-яжи необходимые письменные принадлежности, сели в Петербурге в третьеклассный вагон Николаевской железной дороги и поехали путешествовать по России и *«устраивать предприятие»*. Некий театральный человек сказал им комическое благословение, которое, может быть, их и сопровождало...

Глава одиннадцатая

Эта поездка Бенни с чиновником Ничипоренко, сколько известно, была первым действительным *«предприятием»*, совершенным лет за пять до того, как начали ни на что не похоже описывать подобные предприятия в вялых и неинтересных повестях и романах.

Едучи с недалеким, болезненным, чахлым и до противности неопрятным чиновником Ничипоренко, Бенин немного нужно было, чтобы разгадать своего ментора. До Твери Бенни уже составил себе ясное понятие, что спутник его крайняя ограниченность и несет белиберду. Остановившись по дороге в Твери, где им следовало сесть на пароход, они уже немножко поссорились. В маленьком трактирчике, где они пристали, Ничипоренко, строго взыскивая с трактирного мальчика за какую-то неисправность, толкнул его и обругал словом, которое Бенни понимал и которого не мог слышать.

Бенин показалось ужасным такое обращение со стороны человека, который ехал «сходиться с народом», и у них произошла сцена. Бенни настоятельно потребовал, чтобы Ничипоренко или тотчас же извинился перед трактирным мальчиком и дал слово, что вперед подобного обращения ни с кем из простолюдинов в присутствии Бенни не допустит, или оставил бы его, Бенни, одного и ехал, куда ему угодно.

Бенни поставил Ничипоренко свои условия с такою решимостию, что тот сразу увидел себя в совершенной необходимости на которое-нибудь из них решиться. Ехать назад одному, ничего не сделавши для «предприятия» и притом не имея что и рассказать о том, за что он прогнан, Ничипоренко находил невозможным, и он извинился перед мальчишкою и дал Бенни требуемое этим последним слово воздержаться вперед и от драчливости, и от брани.

За сим эмиссары снова поехали далее уже не по сухому пути, а по Волге.

Ничипоренко, кажется, вовсе не понимал всего значения сделанной им уступки требованиям Бенни: он не предвидел, что после нее он уже не может иметь никакой менторской власти над своим возмущившимся Телемаком и что он из руководителя и наставника вдруг, ничего не видя, сошел на позицию школяра, которого дерут за уши.

Глава двенадцатая

В Нижний Новгород у Бенни и Ничипоренко было (от П. И. Мельникова) письмо в один хороший семейный дом, хотя и не имевший никаких прямых связей с предприимчивою партией, но весьма интересный для знакомства. Хозяин этого дома был молодой человек, чиновник с родовыми связями и хорошо открытой карьерой. В то время этот господин всего года три как был женат на молодой девушке, тоже из очень хорошего семейства. Молодые хозяева приняли рекомендованных им из Петербурга гостей дружественно и радушно, – сделали для них обед и пригласили к этому обеду нескольких своих знакомых, мужчин и дам. Ничипоренко уже успел шепнуть всем по секрету, что сопровождаемый им человек, Артур Бенни, есть «герценовский эмиссар», с которым они едут «делать предприятие», и все, кому это было сказано, разумеется, спешили, как на чудо, посмотреть на герценовского эмиссара. Ничипоренко, показывая Бенни любопытным нижегородцам, был, однако, не совсем им доволен: он находил, что его эмиссар не так себя держит, как бы следовало, что он «сентиментальничает», что это в нем отзывается английская рутина и что он, Ничипоренко, должен показать Бенни, как следует вести себя с провинциалами для того, чтобы производить на них надлежащее впечатление. Ничипоренко приготовился блеснуть своим вольно-

мыслием перед собравшимся к обеду провинциальным обществом. За обедом к этому представился и удобный случай. Дамы, беседуя с Бенни (которого дамы и полицейские всегда неотразимо принимали за настоящего англичанина), говорили комплименты английским нравам и хвалили чистоту идей, проводимых в большинстве английских романов.

– Там никогда не позволяют себе издеваться над семейными привязанностями и над браком, – сказала одна дама.

– Это совершенно справедливо, – отвечал Бенни, – хотя брак уважается повсюду, но в Англии особенно крепки и семейные связи, и семейные предания.

Ничипоренко нашел этот момент отменно удобным, чтобы зараз и проучить Бенни, «чтобы он не подличал», и в то же время показать, как людям их звания следует направлять в обществе такие разговоры. Со всем свойственным ему петербургским вольномыслием того простодушного времени Ничипоренко объявил во всеуслышание, что брак совсем не пользуется повсеместным уважением и что у нас, у первых, есть раскольники, которые не признают брака, ибо брак есть – просто вредная глупость.

Имея в виду, что такое суровое осуждение брака было произнесено в присутствии замужней хозяйки и многих присутствовавших здесь замужних дам, некоторая почтенная пожилая дама, родственница хозяев, заметила Ничипоренко, что ему так при семейных людях рассуждать не годится, что она и сама венчалась и дочерей замуж выдавала, но никакой

вредной глупости в этом не видит.

– Да кто же видит свои глупости! – отвечал развязный Ничипоренко.

– Хотела бы вам, батюшка, отвечать, что, слушая вас, я готова поверить, что действительно бывают люди, неспособные видеть свои глупости; но скажу вам только, что вы большой невежа.

– А вы меня небось этим хотите сконфузить? – отвечал, рассмеявшись, Ничипоренко и, махнув рукою, добавил, – нам мало дела до того, что о нас думает подгнивающее поколение! А что касается до ваших дочерей, которых вы выдали замуж, так мы еще не знаем, чем это окончится. Если спросить женщин по совести, то каждая из них предпочитает временные свободные отношения вековечным брачным.

– Вы должны выйти вон! Сейчас вон! – вскрикнула, вся побагровев, старушка и, быстро отодвинув свое кресло, встала из-за стола.

Обед и дальнейшее гостевание в этом доме были расстроены самым неожиданным и самым печальным образом; а вместе с тем печальная история эта должна была отразиться и на самом предприятии. Эмиссары рассчитывали получить в этом нижегородском доме рекомендательные письма в Казань, в Астрахань и в Саратов, и им уже были и обещаны эти рекомендации; но как же после этого, устроенного Ничипоренком, скандала заикаться напоминать об этом обещании?

Ничипоренко еще уверял опечаленного Бенни, что это не значит ничего, что у нас, в России, теперь молодые за старых не стоят; но Бенни считал дело проигранным и ни за что не согласился просить писем.

– Мало того, что их нельзя просить, но если бы мне их и дали, то я их теперь не возьму, – решил он Ничипоренке.

Ничипоренко только пожал плечами и отвечал:

– Ну, этак, батюшка мой, с такими тонкостями вы в России ничего не сделаете.

Бенни ему не отвечал.

Агитаторы оба взаимно были друг другом недовольны, и оба были не в духе. Для первого шага у них уже было довольно неудач. Ничипоренко, однако, первый нашелся, как ему выйти из такого неприятного положения. Сидя после этого обеда в трактирном номере у окна, в которое ярко светило спускавшееся к закату солнце и в которое врывался шум и гром с заречья, где кипела ярмарка, Ничипоренко несколько раз озирался на своего унылого и поникшего головою партнера и, наконец, сказал:

– Да бросьте вы, Бенни, об этом думать! Эка, черт возьми, невидаль какая, что старая барыня рассердилась! Нам не они нужны – нам народ нужен.

Бенни приподнял голову и взглянул на своего спутника остолбенелыми глазами.

Большие, черные, как уголь, глаза Бенни при всяком грубом и неделикатном поступке имели странную способность

останавливаться, и тогда стоило большого труда, чтобы его в такое время снова докликаться и заставить перевести свой взгляд на другой предмет. Позже это знали очень многие; но Ничипоренко не был предупрежден о таких столбняковых припадках Бенни и очень испугался. Он облил Бенни водою и послал за доктором. Пришедший доктор велел пустить Бенни кровь, но пока отыскивали фельдшера, который должен был открыть жилу, больной пришел в себя. Ничипоренко был несказанно этим обрадован: он вертелся около Бенни, юлил и булькотал своим неприятным голосом:

– Нам нужен народ! Не они, а народ. Я положительно говорю, что нам нужен народ!

Расстроенный Бенни повторял за ним: «народ».

– Именно народ! – подхватил Ничипоренко. – И мы должны идти к народу, и мы должны сойтись с ним. Бенни смотрел на него молча.

– Чего вы смотрите? Пойдемте! – заговорил вдруг, оживляясь, Ничипоренко. – Я вам ручаюсь, что вы в народе увидите совсем другое, чем там. Берите скорее шапку и идем.

Бенни взял шапку, и они пошли.

Глава тринадцатая

Ментор вел своего Телемака на ярмарку, которая волновалась и шумела, вся озаренная красным закатом.

Они шли сходиться с народом.

Ничипоренко опять впал в свою роль руководителя и хотел показать Бенни, как должно сходиться с русским народом; но только, на свое несчастье, он в это время спохватился, что он и сам не знает, как за это взяться. Правда, он слышал, как Павел Якушкин разговаривает с прислугою, и знал он, что уж Павел Якушкин, всеми признано, настоящий мужик, но опять он никак не мог припомнить ни одной из якушкинских речей; да и все ему мерещился ямщик, который однажды сказал Якушкину:

– А зачем же на тебе очки? Коли ты мужик, тебе очки нендобе. Нешто мужики очки-то носят?

Ничипоренко поскорее схватил с себя синие консервы, которые надел в дорогу для придания большей серьезности своему лицу, и едва он снял очки, как его простым, не заслоненным стеклами глазам представился небольшой чистенький домик с дверями, украшенными изображением чайника, графина, рюмок и чайных чашек. Вверху над карнизом домика была вывеска: «Белая харчевня».

В эту же минуту Ничипоренко почувствовал, что Бенни вздрогнул всем телом и остановился.

– Чего вы? – спросил его Ничипоренко.

Бенни ничего не отвечал, но зорко, не сводя глаз, смотрел на обогнавших их трех купцов, которые шли, жарко между собою разговаривая и перекидывая друг другу с рук на руки какой-то образчик.

Один из этих купцов, кричавший громко: «некогда! некогда!», был тот самый сибирский революционер, который сманил Бенни из Лондона и сказал ему в Берлине: «Ступай, немчик, назад». Вся эта история теперь проснулась в памяти Бенни, и ему стало и еще тяжелее, и еще досаднее.

– И ему теперь некогда! думал я с завистью, – рассказывал Бенни. – Он, сыгравший со мною такую комедию, так счастлив, что ему некогда, что его день, час, минута все разобраны, а я все слоняюсь без дела, без толка, без знания – что делать, за что приняться? Он проходит теперь мимо меня, вовсе меня и не замечая... Не заметил он меня, или он меня побоялся?

Но прежде чем Бенни успел решить себе этот вопрос, купец, поворачивая в следующий переулок, вдруг быстро оборотился назад, погрозил Бенни в воздухе кулаком и скрылся.

В раскрытые окна «Белой харчевни» неслись стук ножей, звон чашек, рюмок и тарелок, говор, шум и крик большой толпы и нескладные звуки русской пьяной, омерзительной песни.

Бенни опомнился и, указывая на харчевню, с гадливостью спросил: что это?

Ничипоренко захохотал.

– Чего вы! – заговорил он. – Испугался!.. Небось невесть что подумал, а это просто *народ*.

– Но тут драка, что ли?

– Какая драка, – просто русский *народ*! Пойдемте.

Они вошли в харчевню.

Глава четырнадцатая

Оба агитатора были одеты довольно оригинально: на Ничипоренке был длинный коричневый пальмерстон и островерхая гарибальдийская шляпа, в которой длинный и нескладный Ничипоренко с его плачевною физиономиею был похож на факельщика, но такими шляпами тогда щеголяли в Петербурге, – а на Бенни был гуттаперчевый макинтош и форменная английская фуражка с красным околышем, на котором посередине, над козырьком, красовался довольно большой, шитый золотом вензель королевы Виктории «R. V.» (Regina Victoria). В руке Бенни держал дорогой шелковый зонтик, который привез с собою из Англии и с которым никогда не расставался. В этом стройном уборе они и предъявились впервые народу.

Взойдя в харчевню и отыскав свободное место, Ничипоренко спросил себе у полового чаю и газету.

Половой подал им чай и «Ярмарочные известия». Газета эта ни Бенни, ни Ничипоренко не интересовала, а других газет в «Белой харчевне» не было.

За недостатком в литературе надо было прямо начинать «сходиться с народом».

Ничипоренко все озирался и выбирал, с кем бы ему как-нибудь заговорить? Но посетители харчевни – кто пил, кто ел, кто пел, кто шепотом сговаривался и торговался, не об-

ращая никакого внимания на наших предпринимателей.

Среди шума, гвалта и толкотни в толпе мелькала маленькая седая голова крохотного старичка, который плавал по зале, как легкий поплавок среди тяжелых листов водяного папоротника. Он на секунду приостанавливался у какой-нибудь кучки и опять плыл далее и так обтекал залу.

– Видите, какая сила, – говорил Ничипоренко, кивал головой на народ. – Какова громадища, и ведь бесстыжая – все под себя захватит, исковеркает и перемелет, только сумеете заговорить с ним их языком.

– Симиону Богоприимцу и Анне Пророчице на возобновление храма Божия будьте укладчики! – тихо и молитвенно пропел над ним в эту минуту подплывший к ним седой старичок в сереньком шерстяном холодайчике, с книжечкою в чехле, с позументным крестом.

Ничипоренко взглянул на старичка и сказал:

– Проходи, дед, проходи: у нас деньги трудовые, мы на пустяки их не жертвуем.

Старичок поклонился, пропел:

– Дай вам Бог хорошее здоровье, родителям царство небесное, – и поплыл далее.

– Когда? как церковь-то сгорела? – слышал Бенни, как начал спрашивать один из соседей подошедшего к нему сборщика.

– На семик, на самый семик, молоньей сожгло. Старичок еще поклонился и добавил:

– Жертвуй Симиону и Анне за свое спасение.

Мещанин вынул пятак, положил его на книжку и перекрестился.

Старик ответил ему тем же, как отвечал Ничипоренке, – ни более, ни менее, как то же: «Дай Бог тебе доброе здоровье, родителям царство небесное».

Старичок уже стоял перед третьим столиком, за которым веселая компания тянула пиво и орала песни.

– Что? – крикнул пьяный парень, обводя старика посоловевшими глазами. – А! собираешь на церковное построение, на кабашное разорение, – это праведно! Жертвуй, ребята, живее! – продолжал парень и сам достал из лежавшего перед ним картуза бумажный платок, зацепил из него несколько медных копеек, бросил их старику на книжку и произнес:

– Будь она проклята, эта питрб, – унеси их скорее, божий старичок.

Бенни встал, догнал старичка и положил ему на книжку рублевый билет.

Старик-сборщик, не выходя ни на секунду из своего спокойного состояния, отдал Бенни свой поклон и протянул ему тоже: «Дай Бог тебе доброе здоровье, родителям царство небесное».

Но пьяный парень не был так равнодушен к пожертвованию Бенни: он тотчас же привскочил со стула и воскликнул:

– Вот графчик – молодец!

Парень быстро тронулся с места, шатаясь на ногах, подо-

шел к Бенни и сказал:

– Поцелуемся!

Бенни, вообще не переносивший без неудовольствия пьяных людей, сделал над собою усилие и облобызался с пьяным парнем во имя сближения с народом.

– Вот мы... как... – залепетал пьяный парень, обнимая Бенни и направляясь к столику, за которым тот помещался с Ничипоренкою. – Душа! ваше сиятельство... поставь пару пива!

– Зачем вам пить? – отвечал ему Бенни.

– Зачем пить? А затем, что загулял... Дал зарок не пить... опять бросил... Да загулял, – вот зачем пью... с досады!

Мещанин сел к их столу, облокотился и завел глаза.

Ничипоренко шепнул Бенни, что этому перечить нельзя, что нашему народу питье не вредит и что этого парня непременно надо попотчевать.

– Вот вы тогда в нем его дух-то народный и увидите, – решил Ничипоренко и, постучав о чайник крышкою, потребовал пару пива.

Парень был уже очень тяжел и беспрестанно забывался; но стакан холодного пива его освежил на минуту: он крякнул, ударил дном стакана об стол и заговорил:

– Благодарим, дворецкий, на угощении... Пей же сам!

Ничипоренко выпил.

– Давай с тобой, графчик, песни петь! – отнесся парень к Бенни.

– Я не умею петь, – отвечал юноша.

– Чего не умеешь?

– Петь не умею.

– Отчего же так не умеешь?

– Не учился, – отвечал, улыбнувшись, Бенни.

– Ах ты, черт! Да нешто петь учатся? Заводи!

– Я не умею, – снова отвечал Бенни, вовсе лишенный того, что называют музыкальным слухом.

– А еще граф называешься! – презрительно отмахнувшись от него рукою, отозвался парень и, обратившись затем непосредственно к Ничипоренке, сказал: – Ну, давай, дворецкий, с тобой!

Ничипоренко согласился; но он тоже, как и Бенни, и не умел петь и не знал ни одной песни, кроме «Долго нас помещики душили», песни, сочинение которой приписывают покойному Аполлону Григорьеву и которая одно время была застольною песнью известной партии петербургской молодежи. Но этой песни Ничипоренко здесь не решался спеть.

А парень все приставал:

– Ну, пой, дворецкий, пой!

Ничипоренко помирил дело на том, чтобы парень сам завел песню, какая ему была по обычаю, а он де ему тогда станет подтягивать.

Парень согласился, – он закинулся на стуле назад, выставил вперед руки и самую высокою пьяною фистулою запел:

Царь наш белый, православный,
Витязь сердцем и душой!

Песня эта имела на Ничипоренко такое же влияние, какое производил на Мефистофеля вид освященных мест: он быстро встал и положил на стол серебряную монету за пиво; но тут произошла маленькая неожиданность: парень быстрым движением руки покрыл монету своею ладонью и спросил: «Орел или решетка?»

Ничипоренко смутился и сказал сурово парню, чтоб тот не баловался и отдал деньги.

– Орел или решетка? – с азартом повторял, не поднимая руки, парень.

Ничипоренко достал из кармана другую монету, расчелся и ушел. С ним вместе ушел и Бенни, получивший от мещанина на дорогу еще несколько влажных пьяных поцелуев.

Глава пятнадцатая

«Предприниматели» шли молча по утихавшим стогам деревянного ярмарочного города.

При последних трепетаниях закатных лучей солнца они перешли плашкоутный мост, соединяющий ярмарочный город с настоящим городом, и в быстро густеющей тени сумерек стали подниматься в гору по пустынному нижегородскому взвозу. Здесь, на этом взвозе, в ярмарочную, да и не в ярмарочную пору, как говорили, бывало нечисто: тут в ночной тьме бродили уличные грабители и воришки, и тут же, под сенью обвалов, ютился гнилой разврат, не имеющий приюта даже за рогожами кабачных выставок.

Бенни и Ничипоренко шли по этому месту, вовсе не зная его репутации, и ни в одном из них не было столько опытности, чтобы по характеру местности сделать приблизительно верное заключение о характере лиц и сцен, которые всего легче можно здесь встретить. Они шли теперь посреди сгущающейся вокруг их тьмы, разговаривая о народе, о котором Ничипоренко «знал все» и говорил о нем с большою самоуверенностью тогдашних народоведцев.

Бенни с чисто детскою пытливостью хотел объяснений, отчего все эти люди давали на церковь, когда он был наслышан, что церковь в России никто не любит и что народ прилежит к расколу, ибо расколом замаскирована революция?

Ничипоренко объяснял ему, что «это ничего не значит».

– Да как же ничего не значит? – пытало бедное дитя, еще не привыкшее нахально игнорировать возникающие вопросы святого сомнения.

– Да так, ничего не значит. Народ знает, что это, может быть, шпион.

– Кто же шпион?

– А вот этот старик, что на церковь просил.

– В таком случае, зачем же вы ему не дали? Ведь это могло обратить на вас его внимание.

– Ну, так, – очень нужно деньги тратить!

Бенни посмотрел в глаза своему ментору сколько мог пристальнее сквозь сумеречный мрак и сказал:

– Да как же не нужно?

– А разумеется, не нужно.

– Да ведь мы же должны дорожить, чтобы на нас тени подозрения не падало!

– Да оно и не падало бы, если бы вы не сунулись с своим рублем, – отвечал Ничипоренко, внезапно почувствовавший за собою силу положения.

– Это вы все испортили, – продолжал он, развивая свою мысль, – вас и назвали сейчас же от этого графом. Граф! *Воп соиг*,² ваше сиятельство!

Ничипоренко снял шляпу и захохотал.

– Да, но и вас, однако, тоже называли дворецким, – кротко

² Добрый вечер (*франц.*).

отвечал Бенни.

– Дворецким? да дворецким-то ничего, но не аристократом, не графом.

Бенни чувствовал, что Ничипоренко как будто врет что-то без толку, но, припоминая, что ему было наговорено о народе, невольно допускал, что, может быть, и вправду он все-му виноват, что он наглупил своим рублем и выдал себя этим поступком за такого человека, видя которого народ перестает быть искренним и начинает хитрить.

– Согласны вы со мною? – допрашивал его Ничипоренко.

– Да, может быть вы и правы, – отвечал введенный в сомнение Бенни.

– Не может быть, а это так есть, – отозвался, возвышая голос, Ничипоренко. – Да, это именно так есть; а зачем он, по-вашему, запел эту песню?

– Какую?

– Да вот эту: «белый-то и православный»?

Бенни полагал, что это из оперы «Жизнь за царя», но Ничипоренко это осмеял и разъяснил дело иначе.

– Он охмелел и пел сам не знал что, – отвечал Бенни.

Ничипоренко расхохотался.

– Не знал что! – повторил он и опять расхохотался. – Да, много вы, должно быть, наделаете, если так будете понимать. Эх вы, Англия, Англия, мореплаватели! А знаете ли вы, что народ-то похитрее нас с вами? Народ при «графчиках» никогда не заговорит о том, о чем он сам с собою говорит, – да-

с! Чтобы его знать, надо его слушать, когда он вас не видит, когда он вас не считает ни графчиком, ни барином, тогда его изучать надо, а не тогда, когда вы сами себя выдали и вашим шелковым зонтиком, и вашу «Режиною Викториею», и вашим рублем.

– Но как же его слушать и видеть так, чтобы *он* нас не видел? – спросила Англия, находя в самом деле некоторый, даже весьма немалый смысл в этом замечании.

– А это надо искать, надо ждать для этого случая... Их, таких случаев, очень много, и надо только не упускать их.

– Анафема! шейгиц... только обдирать народ знают! – слышалось вдруг в это время недалеко от них, в стороне.

«Предприниматели» вздрогнули и остановились. Кругом их уже была темная ночь: вдали то затихал, то снова раскаты-вался грохот разъезжавшегося по домам города; на небе изредка проскакивали чуть заметные звезды; на длинном, пустом, по-видимому, взвозе не было заметно ни души живой.

Но вот опять из темноты раздается:

– А рупь-то серебром узял. Зачем же ты рупь серебром узял? Узял да и по шее – а? Есть разве теперь тебе такая пра-вила, чтобы за свои деньги хрестьян бить по шее – а? Ты думаешь, что хрестьяне ничего. Ты куру с маслом ешь, а хрестьянину не надо ничего?..

Ничипоренко дернул Бенни за руку и прошептал: «*тссс!*»

– А если хрестьянин за это тебе, собаке, голову долой – а? Секим башка долой – а? – произнес азартно, возвышаясь в

это время, очевидно пьяный голос. – Ты думаешь, что тебе век куру с маслом есть!.. А я теперь, может, и сам хочу куру с маслом есть!

– Идем! – воскликнул Ничипоренко, порывая Бенни по тому направлению, откуда слышался голос.

– Вы слышите: он, должно быть, хмелен, и вот увидите, этот ничего не скроет, – он черт знает как проврется! а мы такого человека должны сберечь.

Бенни с этим согласился.

Они шли почти ощупью, потому что под прямым откосом прорезанного в горе взвоза было еще темнее, чем где-либо, а дорогого человека, который мог провраться и которого надо было спасти, не находили.

Но дорогой человек им сам объявился.

– Что? – заговорил он снова в пяти шагах от них. – Что тебе медаль на грудь нацепили, так ты и грабить можешь... – а? Да я сам бляху-то куда хочешь себе подцеплю!

Ничипоренко и Бенни бросились на этот голос, как перепела на вабило.

Глава шестнадцатая

Подоспев на голос роптавшего впотьмах незнакомца, Бенни и Ничипоренко разглядели мужика, который стоял, упершись обеими ладонями в срезанную стену довольно высокого земляного откоса и, изогнув на бок голову, косился на что-то через правое плечо. Он был пьян до такой степени, что едва стоял на ногах и, вероятно, ничего не видел.

– Кто тебя ограбил? – спросил его Ничипоренко.

Мужик, шатаясь на подгибающихся коленях, продолжал сопеть и ругаться. Он, очевидно, не видал подошедших к нему предпринимателей и не слышал ничипоренковского вопроса.

Ничипоренко взял его за плечи, встряхнул и опять спросил, кто его обидел.

– А? – отозвался мужик.

– Кто тебя обидел, я говорю?

Мужик подумал с минуту, посопел и, опять заворачиваясь вправо через плечо, заговорил:

– Мош-ш-шен-н-ник, анафема... шейгиц!..

– Кого ты ругаешь? – спросил Ничипоренко. – За что?

– А зачем он рупь серебром узял! – отвечал мужик и снова закричал вправо: – Шейгиц! анафема... мошенник!

– Откуда он *у вас* взял их? – спросил Бенни, думая таким вопросом навести мысли пьяного человека на ближай-

шие его соображения.

Он не ошибся. Мужик тотчас переменял тон и с доверчивостью заговорил:

– Да как же, скажи: зачем он у меня с чертогона последний рупь серебра сдернул... а? Нешь ты затем здесь поставлен... а? Нешь ты за то будущник назван... а? Шейгиц ты, мошенник! – заговорил снова, валясь вправо головою, мужик.

– Что такое «*чертогон*»? – спросил у своего спутника шепотом Бенни.

Ничипоренко пожал плечами и отвечал:

– Черт его знает, что он мелет!

– Этого нельзя, – говорил мужик. – Ты в будку для проспанья меня вел и рупь серебра смотал... Нешь на это тебе закон есть... а?

– Его просто нужно отправить домой, – проговорил Бенни и затем, снова обратясь к мужику, спросил: – Где *вы* живете?

– Что?

Бенни повторил свой вопрос.

Мужик подумал и отвечал:

– Пошел прочь!

– Я хочу вас домой довести.

– Пошел прочь, – опять так же незлобливо отвечал мужик.

– Бросьте его, – сказал Ничипоренко.

Бенни этого не послушался.

– Я вам дам рубль серебром, и вы идите домой, – сказал он тихо, оттягивая мужика от глинистого обреза, в который

тот упирался.

– Рупь серебром...

Мужик подставил пригоршни, сжимая их так сильно, как будто ему хотели насыпать их маком.

Бенни одною рукою поддерживал пьяного, другою достал из своего кармана рублевый билет и подал его мужику.

Тот взял и начал совать его в штаны; но пьяная рука ему не повиновалась, и каждый раз, как он посылал ее в карман, она прямо проскальзывала мимо кармана.

– Я положу *вам* в карман, – сказал Бенни, протягивая руку к билету, но тот вдруг неожиданно вскрикнул: «Пошел прочь!», – быстро отдернул у Бенни свою руку и, не удержавшись на ногах, тяжело шлепнулся во весь рост о землю и лежал, как сырой конопляный сноп.

Бенни решительно не знал, что ему предпринять с этим дорогим человеком: оставить его здесь, где он лежит, – его могут раздавить; оттащить его назад и снова приставить к стене, – с него снимут ночью и сапоги, и последнюю одежду. К тому же, мужик теперь охал и жалостно стонал.

Бенни нагнулся к его лицу и сквозь сумрак ночи, к которому в это время уже достаточно пригляделись его глаза, увидел на лице мужика печать серьезности, которою выражается только что ощущенное страдание.

– *Вы* расшиблись? – спросил Бенни.

– В печенях... – отвечал мужик.

– Больно?

– Больно, – отойди, больно.

– Ты расшибся? – спросил Ничипоренко.

– Поди прочь, – расшибся.

Ничипоренко объявил, что теперь нечего размышлять; что больше здесь стоять невозможно; что, черт его знает, он, этот мужик, может издохнуть, а не издохнет, так кто-нибудь как на грех подойдет и скажет, что они его убили и ограбили.

Бенни был другого мнения; он находил, что это и прекрасно, если их возьмут в полицию, потому что им, при правоте их, нетрудно будет оправдаться; но зато там и этот мужик тоже найдет себе защиту.

– Ну да, защиту! Как же, ведь это, небось, вам Англия здесь, чтобы находить в полиции защиту! – заговорил, вспыхнув и суетясь, Ничипоренко. – Так вот сейчас палочку из-под сюртука вынет – фить – и оправдал... Вы это забудьте про вашу палочку, она в Лондоне осталась, а вы тут в России. У нас с полицией не судятся; а полу от кафтана режут, если она схватит, да уходят.

– Я ни от какой полиции не побегу. У меня краденых вещей нет.

– Зато у нас с вами полтора пуда «Колокола» в номере заперто.

– Полтора фунта разве, – заметил Бенни.

– Довольно полтора золотника, чтобы отсюда прямо да в крепость.

Младший же брат, над разбитыми печенями которого

происходил теперь спор, в это время, отложив всякое житейское попечение, захрапел.

Положение предпринимателей становилось все труднее и труднее, каждый из них горячился, и, возражая друг другу, они дошли до того, что Ничипоренко сказал Бенни, что он рассуждает «как либерал, филантроп и трус», а Бенни отвечал Ничипоренке, что он не хочет ставить его суждений выше болтовни революционных шарлатанов и дураков.

Глава семнадцатая

Оставалось очень немного до того, чтобы им совсем переплюнуться через спящего младшего брата, как счастливый случай вступился за предпринимателей. Сверху спуска слегка застучало, – громче, громче и, наконец, совсем стало слышно, что это едет экипаж не массивный, не веский, не карета и не коляска, а легкий извозчичий экипажец.

– Вот если это пустой экипаж, и спор весь кончен, – сказал Бенни, – я найму кучера отвезть этого человека, и пойдете домой.

Ничипоренко не возражал и был очень доволен, лишь бы уйти.

Он даже вызвался сам остановить извозчика и вышел для этого на середину дороги.

Спускавшийся экипаж действительно принадлежал городскому извозчику, возвращавшемуся порожняком домой.

Ничипоренко дал извозчику поравняться с собою и выступил к нему в своем длинном пальмерстоне и островерхой гарибальдийской шляпе.

– Можешь ли ты свезть пьяного человека? – спросил он возницу.

Извозчик, перехватив вожжи в левую руку, правую оперся на крыло дрожек и, склонясь к Ничипоренке, сказал полупшепотом: «А он еще теплый?»

– Как теплый?

– Живой?

– Да, конечно, живой, – отвечал Ничипоренко.

– Пять целковых.

– Подлец! Ах ты, подлец; ах ты, рожа всероссийская!

– Чего же ругаться-то! – возразил извозчик.

– Как же не ругаться? пять рублей просишь человека в город отвезть!

– Человека отвезть! Да вы его теперь какого сделали, а он если за пять целковых у меня в пролетках очерствеет, да я и отвечай! Да я – черт с вами и совсем... Но! – и извозчик покати.

Бенни, слышавший весь этот разговор, испугался, что извозчик уедет, и в отчаянии закричал ему, чтобы он остановился и взял человека, а что пять рублей ему будет заплачено.

Извозчик остановился, но потребовал, чтобы ему деньги были заплачены прежде, чем посадят *его*.

Бенни отдал ему деньги, которые извозчик пощупал, повертел и, наконец, с некоторою отчаянностью сунул... «Э, мол, была не была: настоящая, так настоящая, а красная так красная!»³

Теперь оставалось только поднять его и посадить на дрож-

³ Тогда на нижегородской ярмарке немало обращалось фальшивых бумажек, фабрикованных будто бы где-то вблизи Красноярска и потому называвшихся в народе «красноярками». (Прим. Лескова.).

ки.

Предприниматели взялись за меньшого брата, подняли его и потащили; но меньшей брат, на их горе, неожиданно проснулся и спросонья во все мужичье горло заорал: «Караул!»

Чем энергичнее дергал его Ничипоренко за ухо и чем деликатнее и нежнее убеждал его Бенни, говоря: «Вы нездоровы, вы поезжайте домой», тем младший брат орал ожесточеннее, доходя до визгов, воплей и рева. Ничипоренко зажал ему рукою рот, тот укусил его за руку. Под влиянием боли и досады вообще скорый на руку Ничипоренко ударил младшего брата укушенной им рукою по губам. Младший брат взревел, как будто его перерезали.

При этом неистовом вопле в одном из откосов горы словно раздалась щель, в которой на мгновение блеснул свет, и из этого света выскочили две человеческие фигуры. Извозчик хлопнул по лошадям и унесся, – исчез во тьме и Ничипоренко, крикнув Бенни: «Спасайтесь!» Бенни оставался один и слышал, как все сближались шаги бегущих к нему людей. Еще ни одного из них он не успел рассмотреть, как на грудь ему упал конец издали брошенной в него веревки. Он откинул от себя эту веревку, но в ту же минуту почувствовал, что чрез плечо ему шлепнулась на спину другая. Отбрасывая поспешно эту вторую, он нащупал узел петли, быстро сдвигавшейся около кисти его руки. Он вырвал руку из аркана и бросился бежать куда глядели глаза.

За ним раздавалось: «Держи! держи! жулик ушел! держи!»

Казаки или кто другой гнались за ним по пятам, но он недаром учился гимнастике и бегал на геркулесовых шагах: темнота и быстрые ноги помогли ему скрыться и достичь благополучно своей гостиницы, с номером, где хранилась кипа герценовского «Колокола».

О судьбе оставшегося на спуске младшего брата и Ничипоренки было ничего неизвестно, и Бенни был страшно встревожен, что случилось с последним.

Глава восемнадцатая

Озабоченный тем, что постигло Ничипоренко, Бенни не мог оставаться дома в покое ни на одну минуту. Он спрятал в печку кипу «Колокола» и собрался ехать к полицеймейстеру. Но только что он вышел в коридор, как Ничипоренко предстал ему в полном наряде и в добром здоровье и, вдобавок, с сияющим лицом. Он рассказал Бенни, что при первой же суматохе он бросился к откосу, прилег за канавку и пролежал, пока казаки побежали мимо его за Бенни, а после встал и вот благополучно пришел домой.

Ничипоренко разъяснил все случившееся с ними так, что младший брат тоже был мошенник, который только притворился пьяным для того, чтобы удобнее их ограбить.

Бенни это казалось невероятным, и он более разделял мнение старого гостиничного слуги, который, выслушав рассказ взволнованных господ, выводил из их слов, что пьяный мужик был не что иное, как просто пьяный мужик, каких часто обируют на этом спуске, и что обобрали его, вероятно, сами сторожевые казаки, наполняющие город во время ярмарки, или будочник; что извозчик принял Ничипоренко и Бенни за мошенников, которые искали средств забросить куда-нибудь за город побитого, а может быть, и совсем убитого ими человека; а что казаки, желавшие заарканить Бенни, обобрали бы, вероятно, и его точно так же, как они обо-

брали мужика.

День этот, заверченный таким образом, был для предпринимателей днем таких тревог, что им не захотелось более ни слова сказать друг другу: они легли в свои постели и уснули.

Несмотря на довольно разнообразные чувства, которые могли волновать агитаторов, они спали как убитые; но тем не менее в третьем часу ночи все-таки случилось обстоятельство, которое их разбудило.

Ничипоренке приснился во сне казак, который начал на него метаться, лаять, кусать и, наконец, скинувшись синим пуделем, вспрыгнул ему на голову и поехал.

Ничипоренко, перепугавшись этого синего пуделя, стал от него отмахиваться во сне, завертелся, забрыкал на диване, на котором спал, зацепился за покрывавшую стол скатерть и упал, стащив с нею вслед за собою на пол графин с водою, стакан, тарелку с сахаром и связку баранок.

Все это произвело такой шум, что Бенни проснулся.

Ничипоренко начал рассказывать Бенни свое сновидение; но прежде чем он успел окончить рассказ, в двери их номера со стороны коридора послышался тихий, но настойчивый стук, и в то же время в нижнем пазу блеснула яркая полоска света.

– Господа! что у вас такое? – окликнул их коридорный.

– Ничего, – дай, пожалуйста, огня, – отвечал, приподнимаясь с пола и с тем вместе роняя остальные вещи, Ничипоренко.

В эту минуту снаружи вложенный ключ легко и быстро повернулся два раза в замке, и дверь отперлась.

Бенни и Ничипоренко решительно этого не ожидали.

Но если они не ожидали, что дверь их номера во всякое время можно свободно отпереть с другой стороны сторонею рукою, то еще менее они ожидали увидеть в распахнувшейся двери то, что представилось там их изумленным глазам.

Глава девятнадцатая

Чуть только распахнулись отпертые лакеем двери и по комнате неровно разлился дрожащий свет свечи, Ничипоренко, стоящий в это время в одном белье среди комнаты, присел на коленях и, побелев как полотно, затрепетал.

В открытой двери стояли с зажженными свечами не один человек, а несколько, и между ними к тому же находился жандарм.

«Вот тебе и пудель», – подумал Ничипоренко, чувствуя, что его оставляют силы, и ища сзади себя руками какой-нибудь опоры.

В самом деле это не было сновидение, а здесь вместе с растерзанным лакеем в комнату действительно засматривали жандарм, квартальный и три головы в скобку, за которыми еще виднелись три или четыре головы, остриженные по-солдатски.

Лакей внес свечу, осмотрелся и еще раз спросил, что тут такое случилось. Бенни, сохраняя все наружное спокойствие, рассказал, что тут ничего особенного не было; что его товарищ просто свалился сонный с дивана, зацепил скатерть и поронял все, что было на столе.

Ответ этот показался всем совершенно удовлетворительным.

Лакей начал убирать валявшиеся на столе вещи; жандарм,

с окружавшими его, посмотрел еще одну минуту в комнату и отошел, сказав бывшим при нем людям, что это не их дело. Лакей, которого Бенни спросил о причине появления здесь жандарма и полицейских, объявил, что это комиссия, которая ищет каких-то двух приехавших на ярмарку петербургских мошенников, – тем вся эта передряга и окончилась, и Бенни с Ничипоренкою остались спокойно досыпать свою ночь.

Но Ничипоренко вовсе уже не расположен был спать: напротив, сон теперь более чем когда-нибудь был далек от его глаз.

Чуть только лакей скрылся за дверью, Ничипоренко запер эти двери и, не вынимая ключа из замочной скважины, подпрыгнул к Бенни.

– Нам остается, может быть, всего две минуты, пока нас узнают, и эти две минуты мы должны употребить на то, чтобы сжечь наш «Колокол».

С этим Ничипоренко схватил спички и присел перед печкою. Он трясся как в лихорадке и решительно не мог слушать никаких убеждений Бенни, доказывавшего ему, что появление комиссии в коридоре, по всем вероятностям, действительно должно быть не что иное как случайность, и что «Колокол» жечь не из-за чего, тем более, что печная труба вверху может быть закрыта, что печка станет дымить, взойдут люди, и тогда непременно родится подозрение, что они жгли что-нибудь недозволенное. Ничипоренко не послушался. Он толь-

ко шепнул тихо на ухо Бенни:

– Молчите! вы ведь ничего не знаете, а я сегодня оставлял «Колокол» под подушками дрожек у извозчиков и дал десять номеров одному полицейскому.

– Полицейскому! – воскликнул Бенни.

– Да, полицейскому; но это всё пустяки; он хороший человек; я и в Петербурге очень много полицейским давал, – да еще каким!.. это ничего, – между ними тоже есть славные ребята, – и с этим Ничипоренко опять кинулся к печи и безжалостно зажег те самые заграничные листы, которые с такою тщательностию и серьезностию транспортировал на себе из Англии в Россию Бенни. Труба, однако, к счастью предпринимателей, была открыта, и кипа «Колокола» сгорела благополучно.

Ничипоренко перемешал концом бенниевского дождевого зонтика пепел и сказал:

– Ну, вот теперь просим покорно хоть и комиссию.

Комиссия к ним, впрочем, не пришла, она поступила как гоголевские крысы: «понюхала и пошла прочь», и Бенни с Ничипоренком провели остаток ночи благополучно.

Глава двадцатая

За утренним чаем предприниматели были невеселы и неразговорчивы: они пили свой чай молча и не говоря друг с другом. Ничипоренко чувствовал, что Бенни не может питать никакого уважения ни к его революционным убеждениям, ни к его поведению, и он в этом не ошибался. Чтобы вывести Бенни на какой-нибудь разговор, он спросил его:

– А вы думаете, что это невозможно – давать «Колокол» полицейским? Я знаю жандармов таких, которые Герцену материалы доставляли.

Бенни, смотревший во все это время в свою записную книжечку, вместо того, чтобы отвечать Ничипоренке, спросил его: помнит ли он их маршрут? На маршруте этом стояли Казань, Саратов, Царицын, Красный Яр и Астрахань.

Ничипоренко маршрут помнил, но забыл, что для совершения этого путешествия нужны деньги; а предприниматели, поверив свою казну, нашли, что она у обоих их составляет уже всего около тридцати рублей, с которыми спуститься до Каспия и снова всплыть до Тверцы было совсем невозможно. Положим, что, плывучи на пароходах в третьем классе и питаясь булками да чаем, еще и можно было кое-как протащиться и с этими деньгами; но теперь у Бенни рождался вопрос: чего же ради им плыть вниз? чего подниматься вверх, когда ведь опять будет все то же самое: трактир, ули-

ца, извозчики, кабак да сбор на церковь? А как сходитья с народом, – кто это знает? И притом немало смущало Бенни, как это все скоро с ними кончается, – ужасно скоро!

Бенни сообщил свои опасения Ничипоренке, что везде, должно быть, будет только то самое, что они уже видели, и что вряд ли стоит для этого тащиться далее. Ничипоренко, к удивлению своего товарища, тотчас же согласился, что нового и в самом деле ничего, пожалуй, не будет и что тащиться до Астрахани им действительно нечего. Он советовал переменить маршрут, а именно: ехать по железной дороге в Москву; покидаться с «московскою белою партией» и потом ехать в Полтавскую губернию, где жили родные Ничипоренки и где он надеялся устроиться по акцизной части. Ничипоренко уверял Бенни, что малороссийский народ больше развит и что им гораздо лучше начинать с Малороссии, где сепаратисты примкнут к ним и пойдут с ними заодно.

Бенни уже ни на волос не верил Ничипоренке и слушал его только из вежливости; но ему хотелось видеть и Москву, и Малороссию, и Ивана Сергеевича Тургенева, которого он знал за границею и который тогда жил в Орловской губернии в своем мценском имении, как раз на пути из Москвы в Малороссию. А ко всему этому еще присоединилось то, что с тридцатью рублями разъезжать было довольно трудно; а в Москве Ничипоренко обещал Бенни достать много, много денег.

– Я, – говорил он, – там сейчас же присяду и напишу

серьезную корреспонденцию в «Экономический указатель» и смешную в «Искру», и у нас будут деньги, а вы пишете что-нибудь из английской жизни, – я все пристрою.

Ничипоренко говорил все это с такою самоуверенностию, что всем младенчески увлекавшийся Бенни опять ему доверился. Он согласился и ехать в Москву, и писать «что-нибудь из английской жизни». Ничипоренко тотчас же пошел послать одному из своих знакомых в Москву депешу, чтобы его ждали вместе с некоторым таинственным гостем, а Бенни, спустив своего спутника с глаз, почувствовал неотразимую потребность сходить в тот дом, где Ничипоренко вчера за обедом произвел вышерассказанный скандал, и извиниться там за него и за себя перед хозяевами. На случай, если бы его не приняли, Бенни приготовил небольшое письмецо и пошел; но его приняли и даже приняли очень радушно.

Бенни всегда с самым восторженным чувством вспоминал об удивившей его русской мягкости, с которою его встретили хозяин и хозяйка этого дома после столь свежей и столь нелепой истории.

– Судя по нравам Англии и даже Польши, – говорил Бенни, – я думал, что меня или вовсе не захотят на порог пустить, или же примут так, чтобы я чувствовал, что сделал мой товарищ, и я готов был не обижаться, как бы жестко меня ни приняли; но, к удивлению моему, меня обласкали, и меня же самого просили забыть о случившейся вчера за столом истории. Они меня же сожалели, что я еду с таким че-

ловеком, который так странно себя держит. Эта доброта поразила меня и растрогала до слез.

Предприниматели направлялись в Москву.

Глава двадцать первая

Во всю дорогу от Нижнего до Москвы Бенни с Ничипоренко не говорили друг с другом ни слова. Бенни в одно и то же время занят был обдумыванием, что бы такое ему написать пригодное для печати из английской жизни, и кипятился все более и более скрытым негодованием на своего партнера. Ничипоренко был совершенно спокоен. По выезде из Нижнего, на лице его опять засияла значительная улыбка самомнящего, но ни к чему не способного петербургского деятеля тогдашних дней. Ничипоренко знакомился в своем третьеклассном вагоне направо и налево, «разрушал предрассудки», «обрывал сентиментальность», «проводил идею» и вообще был в своей сфере и в своем любимом духе.

Это самодовольство Ничипоренки, после стольких доказательств его неспособности и неумения ни за что взяться, приводило Бенни в отчаяние. Отчаяние это еще более увеличивалось тем, что этот Ничипоренко, по питерским рекомендациям, был звезда, жемчужина, Голиаф, которым в Петербурге любовались, на которого надеялись и у которого заповедали Бенни учиться и брать с него пример, потому что он-де уже все знает и научит, как и где себя держать, сообразно всяким обстоятельствам.

– Всю дорогу, глядя на Ничипоренку (говорил Бенни), я спрашивал себя, что может выйти из моей поездки с этим

человеком? Я все более и более убеждался, что в этой компании мне не предстоит ничего, кроме как только беспрестанно компрометировать себя в глазах всех сколько-нибудь серьезных людей; но я решительно не знал, куда мне его деть и где искать других людей.

Предприниматели прибыли в Москву вечером, остановились на Тверской в гостинице Шевалдышева и тотчас же принялись литераторствовать. Бенни имел при себе английский журнал, в котором была довольно занимательная для тогдашнего времени статья о мормонах. Он сел переводить ее, а Ничипоренко взялся писать корреспонденцию *с дороги*, но почувствовал позыв ко сну и лег в постель. Перевод Бенни был сделан очень дурным русским языком и в этом виде никуда не годился; но Ничипоренко обещался ему все выправить и пристроить. Сам Ничипоренко написал корреспонденцию и подал ее через одного своего знакомого в «Русскую речь», чтобы здесь ее поскорее напечатали и выдали бы за нее деньги; но в «Русской речи» корреспонденция эта не была принята, и Ничипоренко опять решил послать ее в «Искру» или в «Экономический указатель». Сами же предприниматели оставались в Москве. В это время они попали здесь в один литературный дом. Хозяйка этого дома, пожилая дама, отличалась благородством своего личного характера и горячностью убеждений, но страдала неукротимую невыдержанностью в спорах, до которых с тем вместе была страстная охотница. Теперь случай сводил эту даму с Бенни

и Ничипоренко на новое несчастье сего последнего. Здесь, может быть, еще раз следует упомянуть, что покойный Ничипоренко был замечательно нехорош собою от природы и, кроме своей неблагообразности, он был страшно неприятен своим неряшеством и имел очень дурные манеры и две отвратительнейшие привычки: дергать беспрестанно носом, а во время разговора выдавливать себе пальцем из орбиты левый глаз. Все это вместе взятое на нервного человека, а в особенности на нервных женщин действовало ужасно невыгодно для Ничипоренко. Этим же безобразием своей наружности, неряшливостью и отталкивающими манерами Ничипоренко с первого же своего визита произвел и на впечатлительную, нетерпеливую и раздражительную хозяйку дома самое неблагоприятное для себя впечатление. Невыгодное впечатление это Ничипоренко еще более усилил чисто маратовскою кровожадностью, которой он, вероятно, и не имел, но которую, по бестактности своей, считал долгом выказывать в этом «благонадежном, *нобелом* доме». К выражению этой кровожадности его подзадоривало присутствие посещавшего этот дом на правах жениха флигель-адъютанта, которому хозяйка, разумеется, оказывала внимание как будущему своему зятю. К концу первого вечера, проведенного Ничипоренкою в этом доме, он устроился так, что хозяйка просто уже питала к нему отвращение. Отвращение это в ней скоро еще более увеличилось и сделалось для других предметом любопытнейших наблюдений.

Глава двадцать вторая

В ряду московских литераторов, среди которых проводила свою жизнь эта «белая дама», она не встречала ничего подобного Ничипоренке ни по его великому невежеству, ни по большой его наглости, ни по бесконечному его легкомыслию и нахальству.

Ничипоренко в своей простоте ничего этого не замечал и, увлекаясь своею ролью *предпринимателя*, как назло, ломался, кривлялся, говорил не иначе, как от лица какой-то партии: «*мы*», «*у нас решено*», «*наши люди готовы*» и т. п. словами. Ничипоренко вел себя так, как ведут себя предприниматели, описанные в некоторых известных повестях и в романах, но то, что люди в повестях и романах, по воле авторов, слушают развеса уши, за то в действительной жизни сплошь и рядом называют человека дураком и просят его выйти за двери. Это и случилось с Ничипоренкою. Московская хозяйка Ничипоренки не выдержала его тона и сказала ему, не обинуясь, что она «*не любит красных и не верит им*».

– А мы не любим *белых*, – смело отвечал Ничипоренко, – и им не верим.

– Да кто это – вы? кто это – вы? – вскричала, вспыхнув, хозяйка.

– Мы...

– Мы! – повторила с презрительною гримасою хозяйка и

тотчас, сделав гримасу, передразнила: – «Кто идет? – Мы. – Кто – вы? – Калмык. – Сколько вас? – *Одна*». Вот вам ваше и «мы».

А что касается до тогдашних петербургских красных... то мнения хозяйки насчет этих людей были самые дурные, и, надо сказать правду, Ничипоренке трудно было ей что-нибудь возражать, потому что она знала про петербургских красных их настоящие дела, а не подозрения и фразы. Когда при этой смете было упомянуто про дело о денежных недоразумениях между Н. А. Некрасовым и покойною первою женою Николая Платоновича Огарева, Ничипоренко вступился было за поэта и хотел представить все дело об этих денежных недоразумениях апокрифическим; но, во-первых, оказалось, что хозяйка хорошо знала это дело, а, во-вторых, знал хорошо эту историю и Бенни, и знал он ее от самих гг. Герцена и Огарева, причем Бенни рассказал, как Некрасов, бывши за границую, пытался было повидаться с Герценом и объясниться насчет этих недоразумений; но Герцен, имея твердые основания считать всякие объяснения поэта излишними, отказался принять его.

– Вы это сами видели?

– Я присутствовал при этом.

Ничипоренко спасовал и сказал:

– Ну, хорошо, пусть даже это будет и так, но это одна неаккуратность... Очень многие хорошие люди с деньгами неаккуратны. Я говорю не об общей, *не о мещанской честности*,

а о честности абсолютной и, употребляя слово *мы*, говорю от лица всех петербургских литераторов, со мною единомысленных.

Услышав это, дама очень резко отозвалась и о многих других петербургских литературных кружках и, не обинуясь, назвала людей этих кружков невеждами. Ничипоренко совсем вскипел и вступился за репутацию литераторов Петербурга. Он решился подшибить даму сразу и притом подшибить как можно больнее и беспощаднее. Он знал по слухам, что хозяйка, с которою он вел эти дебаты, очень любила и уважала покойных московских профессоров Кудрявцева и Грановского, и даже была другом одного из них. Поэтому, чтобы уязвить ее как можно более, Ничипоренко покусился на память этих двух покойников.

– Что же, – сказал он, – да что из того, что у нас невежды? Во-первых, это еще неизвестно, невежды ли они или не невежды, потому что в том, что следует знать для народного счастья, наши знают больше, чем ваши: а, во-вторых, теперь ведь сентименталов, вроде вашего Кудрявцева с Грановским, только презирать можно.

– Как вы смели это сказать! Как вы смели заикнуться об этом в моем присутствии, что этих людей можно презирать! – вскипела за своих друзей хозяйка.

– А отчего же бы и не сказать? что же такого сделали эти ваши трутни? Они конституции, может быть, какой-то добились? да нам черт ли в ней, в этой ихней конституции? Нам

нужен народ, а они ничего не сделали для народного дела.

– Они воспитали целые тысячи людей, из которых ни один не скажет такой глупости, какую я сейчас слышала.

Ничипоренко звонко захихикал.

– И все-таки – что же они сделали, эти люди? Говорить научили? да? – запытал он.

– Они научили людей быть честными людьми.

– Честными!

Ничипоренко опять захихикал и начал, нимало не смущаясь, развивать ту мысль, что такого рода честность, какую мог внушать Кудрявцев, восторгавшийся целомудренными римскими матронами, или Грановский, веровавший даже в жизнь за гробом, скорее вредна, чем полезна.

– Вы в Москве о них жалеете, а мы в Петербурге даже радуемся, что эти господа Грановские к нашему времени убралась и поочистили место другим. Пусть их также беседуют теперь на том свете с Пушкиным и целуют его ручку за Танию, которая раз «другому отдана и будет век ему верна».

Читая этот монолог, Ничипоренко не замечал или и замечал, но не придавал тому значения, что хозяйка, перед которой говорил он, менялась в лице и, наконец, в неукротимом негодовании встала, а *la Ristori*,⁴ протянула руку и молча указала ею на двери.

Видя, что он не трогается с места, она упавшим голосом проговорила: «Вон! вон! сию минуту вон!» и с тем вместе

⁴ подобно Ристори (франц.).

сама, с нервными слезами на глазах, выбежала, шатаясь, из своего кабинета.

Глава двадцать третья

Ничипоренке положительно не везло за Петербургом; не везло с ним и из-за него и Артуру Бенни. Предприниматели были всего вторую неделю в дороге и попали всего только во второй русский дом, а уже им во второй раз указывали на двери. Тут в самом деле в качестве предпринимателя было над чем призадуматься! Артур Бенни был страшно жалок в том печально-смешном положении, в которое его поставили его петербургские знакомые, отправив для изучения России с таким руководителем, как Ничипоренко. Бенни еще в Петербурге изумляла крайняя невоспитанность Ничипоренки, но там она еще приходилась как-то к масти того кружка, в котором он зазнал этого предпринимателя, и не била в глаза. По незнанию России и по своему чистому младенческому легковерию Бенни думал, что, стало быть, таковы повсюду нравы в России и что несносная невоспитанность Ничипоренки тяжела только для него, человека нерусского, а русским людям она всем нисколько не противна, и вдруг, повсеместно, такое разочарование! Как только они вырвались из атмосферы, которою тогда дышали некоторые кружки в Петербурге, и попали к другим людям, – их только отовсюду гонят и гонят! Теперь Бенни стало ясно, что за петербургскими рогатками человек, который ведет себя как Ничипоренко, и проводник, и сотоварищ непригодный. Бенни, не

обинуюсь, высказал все это Ничипоренке в глаза и старался объяснить ему всю нелепость его поведения. Ничипоренко расхохотался было, но Бенни вспылал и объявил ему, что если он еще где-нибудь так поведет себя, как вел до сих пор, то он, Бенни, просто выбросит его в окно. У них при свидетелях произошла в гостинице Шевалдышева очень жаркая сцена, в заключение которой Ничипоренко опять просил у Бенни прощения и сел писать новую корреспонденцию в петербургские газеты. Денег у них к этой поре уже не было ни гроша, и им нечем было ни жить, ни ехать. Ни «Искра», ни «Экономический указатель» посланных этим изданиям корреспонденции Ничипоренки не печатали и денег ему за его литературу не высылали.

Между тем московская дама, у которой Ничипоренко потерпел свою вторую неудачу, женщина очень доброго и благородного сердца, почувствовала большое сострадание к юному, неопытному и вовсе не знавшему России Артуру Бенни. Она послала за ним одного из своих знакомых и, призвав Бенни к себе, сказала ему, что негодование ее на его товарища вовсе не падает на ни в чем не повинного Бенни; но что если он, Бенни, хочет путешествовать по России с тем, чтобы познакомиться с страной и с хорошими русскими людьми, то прежде всего он должен освободить себя от своего петербургского товарища. Бенни признался, что он и сам давно думает точно так же и давно видит, что с ним в Петербурге сыграли очень нехорошую штуку, давши ему та-

кого компаньона, каков был Ничипоренко.

– Да, ваши петербургские друзья решительно ничего не могли вам сделать хуже, как дать вам такого спутника, – подтвердила ему дама. – Вам с ним невозможно будет показаться ни в один порядочный дом, не ожидая ежеминутного срама: в этом вы мне можете поверить.

Бенни был с этим совершенно согласен; он готов был расстаться с Ничипоренко ту же минуту, но не находил никаких средств от него отвязаться.

– В таком случае я вам просто советую отказаться от путешествия, которое в сообществе этого господина принесет вам только одни скандалы, – сказала ему дама.

Бенни нашел это основательным, и с этих пор ему нужен был только предлог, под которым бы он мог удобнее оставить задуманное путешествие. Но как это сделать после того, как он обещал Ничипоренке ехать с ним в Малороссию, пожить в Прилуках, быть в Киеве, а главное, познакомить его с Иваном Сергеевичем Тургеневым, к чему Ничипоренко, всегда имевший неодолимую слабость к знакомствам с известными людьми, стремился неудержимо.

Он даже забывал говорить и о «предприятии» при мысли, что будет скоро «гостить у Тургенева лето в деревне». Он уверял, что это ему «очень нужно», и действительно впоследствии доказал, что не лгал: Иван Сергеевич Тургенев понадобился г-ну Ничипоренко для того, чтобы впутать его в дело, в которое, окромя Тургенева, попали многие люди, ни-

когда ничего не знаящие о настоящих планах и предприятиях Ничипоренки.

Но об этом будет речь впереди, а теперь возвращаемся к нашей истории.

Глава двадцать четвертая

Бенни не знал, как ему отвязаться от Ничипоренки.

Сказать Ничипоренке прямо, что он не годится ни для какого предприятия, Бенни находил неудобным: Ничипоренко вернулся бы тотчас же в Петербург и рассказал бы, что Бенни «дружит с постепеновцами», что он просто *темная личность*, что он забраковал его, Ничипоренко, человека столь известного во всем Петербурге, и забраковал единственно потому, что он не позволил ему хитрить.

Товарищи Ничипоренко по коммерческому училищу говорят, что он еще с детства был «неуловим и неуязвим».

Будь на месте Бенни человек порассудительнее и посерьезнее, он, конечно, не побоялся бы этого: он понял бы, что никакой социальной революции в России в те дни еще не было, что революционерам здесь делать нечего, и затем благоразумно бросил бы этого Ничипоренко, как бросали его многие люди, не возбраняя ему распускать о них что он хочет и кому хочет. Бенни уехал бы себе назад в свой вульвичский арсенал получать пять тысяч рублей жалованья, и тогда что ему в Англии было бы до Ничипоренки? Но честный маньяк Бенни, к сожалению, ни к какой серьезной вдумчивости не был способен. Он никогда не мог видеть перед собою всего дела в целом его объеме, а рассматривал его по деталям: «это, мол, если неловко, то, может быть, вот это

вывезет». А притом как было, вернувшись в Англию, представиться Герцену и сказать ему, что никакой организованной революции в России нет, а есть только одни говоруны, которым никто из путных людей не дает веры. Ведь Герцен уже объявил, что он «создал поколение *бесповоротно социалистическое*», и люди повторяли эти слова... Выходит большая неловкость! Опять-таки другой человек, более серьезный, чем Бенни, не подорожил бы, может быть, и г-ном Герценом, который, как на смех, в ту пору доверялся людям без разбора и часто уверял других в том, о чем и сам не был уверен; но Бенни не мог сказать всю правду г-ну Герцену. Герцен был его кумир, который не мог лгать и ошибаться, и Бенни во что бы то ни стало хотел разыскать ему скрывающуюся в России революцию. Такое упорство со стороны Бенни было тем понятнее, что он был действительно фанатик и социалист до готовности к мученичеству и притом верил, что Александр Иванович так грубо ошибаться не может и что революция в России действительно где-то есть, но только она все от него прячется. А между тем, пока Бенни предавался этим рассуждениям, злосчастный Ничипоренко окончил еще новые корреспонденции в «Экономический указатель» и в «Искру» и собирался скорее вон из неприветливой Москвы. Отъезд предпринимателей должен был состояться завтра. Бенни ехал против воли своей, а отказаться и сказать Ничипоренке: «оставьте меня, я не хочу с вами ездить», — он не мог. Тогда началась преуморительнейшая игра, похожая

на водевиль.

Глава двадцать пятая

Чтобы как-нибудь спасти этого несчастного Бенни, столь комически начавшего свое путешествие и теперь изнемогавшего под бременем своей нерешительности и деликатности, дама, о которой здесь часто идет речь, вызвалась послать ему на почтовую станцию в Орел телеграмму о том, что важные дела требуют его немедленного возвращения в Москву. Полагали, что слов «важные дела» будет достаточно для Ничипоренки и что предприниматель этот с миром отпустит от себя Бенни, а сам благополучно поедет себе, один, к своим домашним ларам и пенатам и так же благополучно будет себе что-нибудь писать в своих Прилуках «для блага народа» и читателей «Искры» и «Экономического указателя», а Бенни, таким образом, освободится от своего тирана на волю.

Артур Бенни тоже находил, что такой депеши с него будет за глаза довольно, чтобы отбиться в Орле от Ничипоренки.

План этот был приведен в исполнение: как только предприниматели с своими саками и зонтиками уселись в почтовую карету, так, два часа спустя, в Орел, на имя Артура Бенни, была послана условленная депеша. Бенни исправно получил ее в Орле и разыграл перед Ничипоренко, что депеша эта получена им совершенно неожиданно, но что, к сожалению, она имеет значение очень важное и потому он, Бенни, должен отложить свое намерение путешествовать по России

до будущего года, а теперь, немедленно же, теми же следами, должен спешить назад, в Москву, а оттуда бог знает куда, – куда потребуют обстоятельства. Но ни Бенни, ни спасавшая его от Ничипоренки московская «белая» дама, никто не отгадали, как примет эту депешу Ничипоренко.

Услыхав, что у Бенни есть важные дела, которых Ничипоренко так, вотще, до сих пор добивался, петербургский предприниматель так и вцепился в предпринимателя лондонского: покажите, мол, мне, что это такое бывают за *важные дела*? В Москве уповали, что Ничипоренко поспешит в Прилуки и рад будет там отдохнуть от своих революционных работ и треволнений, но он, чуть только услышал про «важные дела», сейчас же думать забыл и про отдых в ничтожном малороссийском городишке, и про всех тех, с которыми он там хотел повидаться и кого хотел просветить. Ничипоренко коротко и ясно объявил Бенни, что и он с ним тоже вернется в Москву. Бенни стал упирать на то, что его вызывают *одного*, но Ничипоренко отвечал, что это, очевидно, или недосказанность, или пустая деликатность к нему, потому что знают, что он, между прочим, желает повидаться с родными; но что он этой деликатности не принимает и непременно едет назад. Одним словом, стал – как Елисей перед Ильею – и стоит в одном, что «жив господь и жива душа твоя, аще оставлю тебя. Ты в Вефиль, так и я в Вефиль, а ты в Иерихон, так и я в Иерихон, и берега Иордана увидят меня с тобою».

– Да, и притом, – говорит, – вы рассудите: *двое* ведь все-

таки более значит, чем *один*. Зовут одного, а мы приедем двое, – это им не убыток, а прибыль.

Бенни поднялся на хитрость и пустился доказывать Ничипоренке, что при революциях прежде всего должна соблюдаться точность в исполнении распоряжений, что если Бенни одного требуют назад, так он один и должен ехать; а если его, Ничипоренко, назад не требуют, то значит высшая революционная власть находит нужным, чтобы он, Ничипоренко, ехал вперед, и он так уж и должен ехать вперед.

Такая речь крайне удивила Ничипоренко, вовсе не допускавшего мысли, чтобы и в революциях нужна была какая-нибудь субординация. Ничипоренко, растерявшись несколько от этой неслыханной новости, сказал Бенни, что он не понимает, зачем нужна в революциях субординация. Что это значит опять зависимость и что, «по его мнению, требовать от предпринимателя слепого послушания, это значит вводить в предприятие бюрократию».

Бенни поговорил с ним о разнице между субординацией и бюрократией и увидел, что политический друг его и этой разницы не понимает и что с ним гораздо удобнее шутить, чем сердиться на него или убеждать его. Он ему рассказывал, что в революциях даже и расстреливают, и вешают. Ничипоренко удивился. Революционер, бросивший берега Албиона для того, чтобы быть исполнителем русской революции, теперь сам уже смеялся над тем человеком, которого в Петербурге считали способнейшим деятелем и мечтали по-

слать в Лондон для самоуважнейших (как впоследствии оказалось, самых пустых) негоциации с Герценом. Теперь Бенни просто подтрунивал над этим важным человеком и подстрекал его тем, что «важные дела», для которых его, Бенни, вызывают назад, он не может назвать, потому что это запрещено ему его «*Старшим*».

– Ну вот, и «*Старшим*»! Да это, может быть, черт знает, кто, этот «*Старший*»?

– Это все равно: старшего надо слушаться.

– Как же вам, стало быть, если и палку поставят старшим, вы и палку будете слушаться?

– И палку буду слушаться. Без этого ничего не идет.

– Фу, чертовщина какая!

Ничипоренко задумался: а может быть, и точно в революциях нужна субординация? Может быть, и в самом деле у *всамдельных* революционеров это так? Желание быть *всамдельным* революционером диктовало Ничипоренке суровую мысль, что он должен послушаться Бенни и ехать далее; но, с другой стороны, вспомнив, что ведь собственно ни он и никто из русских революционеров еще никакого своего революционного начальства не имеет, он находил, что ему некому и повиноваться: Герцен далеко, а здесь, в России, все равны и старшего никого нет.

– Нет, как вы хотите, а я не останусь, – отвечал Ничипоренко с самым решительным видом.

Удовольствие возить «герценовского эмиссара» и ездить

с предприятием было так сильно в эти минуты в Ничипоренке, что он не слушал никаких доводов и стоял на том, что, несмотря ни на субординацию и ни на какие революционные законы, он все-таки едет назад; Бенни решительно потерял надежду отвязаться от своего спутника: он указывал ему и на близость его родины от Орла и советовал проехаться туда и навестить сестер, но ничего не помогало. Ничипоренко твердил: «Что сестры! теперь не до родства, а вы без меня бог знает чего напутаете», – и он ни на пядь не отставал от Бенни.

Тогда Артур Бенни просто бежал от Ничипоренко из гостиницы. Он вышел из комнаты «по надобности царя Саула» и на Волховской улице, в Орле, заложил у часовщика Керна свои карманные часы и с вырученными за них восемнадцатью рублями бросился в отделение почтовых карет. Здесь он думал осведомиться, сколько порожних мест есть в экипаже, который поедет вечером в Москву. Харьковский экипаж, идущий в Москву, случайно был в это время у подъезда, но в нем не было ни одного места... Зато можно было купить кондукторское место у кондуктора. Бенни тотчас же воспользовался этим случаем: он купил себе это место и, тщательно задернувшись в нем занавесками, уехал, послав, впрочем, Ничипоренке со сторожем почтовой станции записку, что он воспользовался единственным местом в почтовом экипаже и уехал в Москву. Теперь Ничипоренко волею-неволею *должен* был остаться в Орле, а Бенни прикатил в Москву. Но

Ничипоренко еще перехитрил Бенни и доказал, что не одни пауки взлетают под облака на птичьих хвостах.

Глава двадцать шестая

Бенни приехал в Москву очень рано и в семь часов утра был уже у одного из своих московских знакомых, знавшего все комические побегушки предпринимателей друг за другом. Хозяин и гость, не будя никого семейных, сели вдвоем за ранний чай, и Бенни с веселым смехом начал рассказывать историю своего бегства от Ничипоренки; но не успел хозяин с гостем поговорить и четверти часа, как один из них, взглянув на улицу в окно, увидел у самого стекла перекошенное и дергающееся лицо Ничипоренки. Он стоял как привидение, появление которого в самом деле решительно невозможно было объяснить ничем, если бы он не объяснил его через минуту сам. Ничипоренко рассказал, что он нашел на станции в Орле очень доброго офицера, едущего в Москву «по казенной надобности», упросил того взять его с собою и догнал Бенни на перекладной. Спасения от него не было нигде, а ехать опять с ним же вместе назад, в Петербург, значило — опять попасть в кружок тех же самых людей, о которых Бенни в это время уже не мог без раздражения вспомнить и с которыми потом никогда не сходилась во всю свою жизнь в России.

Настигнутый Бенни сообщил Ничипоренке, что он должен ожидать кого-то в Москве в течение неопределенного времени. Ничипоренко и здесь не отстал: «И я буду ждать с

вами», – сказал он, и опять жил с Бенни с неделю в гостинице Шевалдышева. Бенни бывал у той писательницы, которая не переносила присутствия Ничипоренки, и у некоторых других московских литературных людей, и у двух тамошних редакторов Каткова и Аксакова. Катков с ним беседовал долго, выспрашивал много и попросил оставить какой-то проект; Бенни оставил, Катков через час прислал проект в запечатанном конверте без адреса и без малейшего слова приписки. Бенни обиделся страшно. Аксаков принял Бенни очень холодно и проекта читать не стал, сказав: «это дело катковское», но посоветовал Бенни «прежде узнать русский народ» и затем откровенно уклонился от продолжения с ним знакомства. Ничипоренко во все это время или сидел в своем номере, или гостевал у брата известного Василия Кельсиева, студента Ивана Кельсиева, необыкновенно доброго и чистого сердцем юноши, более известного в московских студенческих кружках под именем *доброто Вани*. Он тоже потом, быв арестован по обвинению в каком-то политическом преступлении, бежал из-под стражи и, пробравшись за границу, вскоре умер там от чахотки. Жизнь Ничипоренки в Москве была невыносимая, вялая и скучная, но он, кажется, решил терпеть все до конца и уезжать из Москвы не собирался. «Искра» и «Экономический указатель» корреспонденции его опять не печатали и денег ему не высылали, и он жил займами, перебиваясь с гроша на грош. Неизвестно, когда бы и чем бы кончилась эта игра, если бы, к счастью Бен-

ни, у них не подорвались и последние их средства. Предпринимателям решительно и буквально стало нечего есть. Бенни, которого принимали кое-где, мог еще найти себе радушно предложенный обед и даже приют, но Ничипоренке ровно некуда было ни приютиться, ни попасть на хлеба; комната «Вани Кельсиева» была вся с птичьей клетку, а обеда у него часто недоставало и у самого. Он, по его шутивому замечанию, «*закуривал голод*» вонючим кнастером из своей коротенькой трубочки, с которою никогда не расставался ни дома, ни в гостях. Тогда только, в этих непреодолимых обстоятельствах, Ничипоренко, спасая себя от холода и голода, решился ехать в Петербург. Уезжая из Москвы, он, впрочем, успокоивал Бенни, что едет ненадолго, что он там только пораздобудется деньжонками и на днях же вернется снова к Бенни для продолжения предприятия. Наивный Ничипоренко вовсе и не замечал, что его выпроваживали, и уезжал с полным упованием, что он во все это время делал какое-то предприятие, которое остановилось только за случившимся недостатком в деньгах, но разыщет он в Петербурге деньжонок, и ему надо будет вернуться, и предприятие опять пойдет далее. Напуганный Бенни опасался, что Ничипоренко действительно, того и гляди, снова явится в Москве, но его успокоивали, что этого не может случиться, потому что на это нужны деньги, а на деньги в Петербурге не тароваты.

Глава двадцать седьмая

Выпроводив Ничипоренко в Петербург, Бенни остался в Москве тоже без гроша. В это время он воспользовался моим гостеприимством и, живучи у меня, в доме Волоцкой, с моею помощью привел свою небольшую компиляцию о «Мормонах» в такое состояние, что она могла быть напечатана в «Русской речи». Это и была первая и единственная статья, напечатанная Бенни в газете Евгении Тур, постоянным сотрудником которой Бенни никогда не был и назван таковым в некрологе «Иллюстрированной газеты» г-на Зотова совершенно неосновательно. Бенни в это время просто жил у меня в Москве, по совершенному недостатку средств к выезду, и от нечего делать приглядывался к московской жизни и нравам и был принят в дома некоторых московских литераторов и ученых. Русская литература в то время Бенни нимало не интересовала, а его революционные идеи в Москве не встречали никакой поддержки. Одни из москвичей, которым он высказывал свои планы, только отрезвляли его от революционного опьянения, в котором он явился в Россию, а другие, слушая, как он хлопочет о России, просто пожимали в недоумении плечами, дескать: «что он Гекубе и что ему Гекуба?» и отходили от него в сторону. Как Петербург представил ему совсем не то, что ожидал он встретить в нем по своим лондонским соображениям, так и в Москве он опять на-

шел совсем не то, что ему рассказывали: он видел все лениво, рыхло, ничего не ворохнешь, – ничего не сдвинешь. Где этот *раскол*, про который он наслышался в Лондоне всяких чудес от Бакунина и Василия Кельсиева? Раскол не хочет и взглянуть на того, кто ищет его ради других целей, а не ради раскола. Где эта партия *vieux bojards moskowites*?⁵ Сидит она на семи дубах, в осьмой упирается, и дела ей нет до того, что затевает лондонский «немчик». Бенни еще раз убедился, что в России в то время решительно не было никакой организованной революции; что в Петербурге тогда только выдумывали революцию и занимались ею, так сказать, для шику, да и то занимались люди, вовсе не имеющие ни малейших понятий о том, как делаются революции. В отрезвляющем, консервативном покое равнодушной к питерским затеям Москвы Бенни теперь задавал себе вопрос: зачем он сюда приехал? что такое значит здесь *он*, фактически русский подданный и документально «натурализованный английский субъект», человек нерусский ни по крови, ни по привычкам и космополит по убеждениям? Не мудрено, что в это время Бенни и сам себя спросил: что он Гекубе и что ему Гекуба? Молодой, даже совсем юный, Бенни стал понимать, что он сделал большой промах, что положение его просто глупо и что его и лондонские его друзья и петербургские нарядили в какие-то политические шуты и выпихнули его паясничать с убогеньким простачком, который вертится перед ним и ляс-

⁵ старых московских бояр (*франц.*).

кает, как холщовая коза перед пляшущим на ярмарке медведем. Увидать себя такую игрушкой не радостно и не легко; а тут еще с тою известностию, которую он так быстро приобрел как «герценовский эмиссар», нет возможности скрыться бесследно, нет и средств жить. А между тем все бежит, все корпит, все точит, все гоношит деньги, все кричит: «*некогда, некогда*», словно напоминают сибиряка, забывшего на ярмарке обо всех революциях и повторявшего одно *некогда*. Всем некогда, и все едят зато свой хлеб, а у него, у самого предприимчивого из предпринимателей, времени бездна и ни гроша заработка, который был бы так легок при его относительно очень хорошем образовании. Куда деть свое праздное время? на что употребить его, чтобы без стыда смотреть, как все вокруг трудится и работает? Как избавить себя от неприятности садиться за чужой стол?.. «Изучать народ», живучи под чужим кровом и на чужом хлебе, для совестливого Бенни было несносно. Прежде всего теперь нужно было позаботиться о своем собственном существовании, о своем насущном хлебе. В Москве Бенни решительно не мог ничего добыть и собрался в Петербург, где надеялся найти переводную работу и жить, пока осмотрится и успеет списаться с Англиею. В это время он имел положительное намерение уехать в Англию, но, по недостатку характера, не устоял на этом и передумал.

Глава двадцать восьмая

Между тем Ничипоренко в это время был уже в Петербурге и в Москву не собирался. К возвращению Бенни в Петербург здесь уже все было против него восстановлено и сам Бенни объявлен ни более ни менее как русским *политическим шпионом*, хитро подосланным в Петербург русским правительством через Лондон. Сплетне этой предшествовала целая история. Тотчас по выезде Бенни Н. С. Курочкин и его друзья в Петербурге распечатали письма, которые Бенни им оставил для отсылки в Англию. Прочитавши эти письма, любопытные люди не нашли в них ничего выдающего Бенни с дурной стороны. Бенни, который предвидел, что его письма не избегнут люстрации, как выше сказано, нарочно оставил в руках своих петербургских друзей не политическую свою корреспонденцию, а простые письма к своим лондонским родственникам. Курочкин и другие люстраторы, подпечатавшие эти письма, поняли, что Бенни их нарядил в дураки, и рассердились. Они чувствовали, что теперь непременно должны отомстить за себя, и отомстить, не пренебрегая никакими средствами. В тогдaшнее время всем людям, которые почему-нибудь не разделяли красных убеждений, в Петербурге тотчас же приснащали звание правительственных шпионов. Гнусное средство это разделяваться таким образом с людьми из-за несходства в убеждениях и вкусах тоже

было в ходу в Петербурге, а в те времена, к которым относится этот рассказ, стоило какому-нибудь прощельге произвести это слово о человеке, и оно тотчас же без всякой критики повторялось людьми, иногда даже довольно умными и честными. Это было прекрасным средством для отвода глаз от настоящих мушаров, которых было множество, особенно из людей, «преданных русскому искусству». Проходили годы; оклеветанный лже-шпион оставался нищ, убог; не было ни одного факта, чтобы он кого-нибудь выдал и на кого-нибудь сошпионил, а кличка, данная ему первым, неразборчивым на средства, бесчестным человеком, все-таки повторялась людьми не бесчестными. Так начиналось царство клеветнического террора в либеральном вкусе после террора в смысле ином. Сказано было «кто не с нами – тот подлец», а «подлец», разумеется, и шпион. Теперь, когда шпионов таким образом произведено так много, что за ними уже не видно настоящих мастеров этого ремесла, и когда нравы партии, дающей такие названия, изучены и разоблачены, подобная кличка уже никого не запугивает и не огорчает; но тогда, в то *комическое время*, были люди, которые лезли на стены, чтобы избавиться от подозрения в шпионстве. Действительные шпионы, распечатавшие письма Бенни, решили назвать его своим именем. Шпионы эти, или люстраторы, или, как их назвать, не знаю, решили, что Бенни шпион; но так как для многих он был еще «герценовский посол», то они не торопились объявлять о его шпионстве тотчас же вслед за тем,

как была сочинена эта гнусная клевета, а выжидали случая, чтобы неосторожный Бенни чем-нибудь сам себя скомпрометировал, и тогда положили все это сплесть, сгруппировать и выставить его шпионом с представлением каких-нибудь доказательств его шпионства. Случай не замедлил представиться. Случай этот был возвращение в Петербург Ничипоренки и его рассказ, как Бенни дружил с постепеновцами; как он обнаруживал нерешительные действия, куда-то исчез из Орла и, наконец, теперь остался в Москве. Этого было слишком достаточно для того, чтобы начать говорить, что Бенни ведет себя подозрительно и что он всеконечно не что иное, как подсланный через Англию шпион русской тайной полиции. При постановлении этого решения не стеснялись ни тем, что Бенни беден, нищ и был вынужден для возвращения из Орла в Москву продать последние часы, чего со шпионом богатого ведомства не должно бы случиться, ни тем, что он имел в Англии около пяти тысяч рублей ежегодного жалованья и за шпионство в России большего вознаграждения, конечно, ожидать не мог.

Решение это было на руку петербургским друзьям эмиссара, потому что оно освобождало этих фразеров от всякой необходимости давать революционную работу пылкому Бенни и возвращало самим им прежнее видное положение в их собственном кружке, а потому оно всем очень понравилось и было принято единодушно. В подобных кружках *подозрение* всегда равнялось *доказательству*, и Бенни во время его

отсутствия был объявлен в Петербурге несомненным шпионом и по возвращении его из Москвы в Петербург встречен в Петербурге с обидною осторожностью, как вполне изобличенный шпион, которого разгадали и с которым общего ничего иметь не хотят. С этих пор так мало свойственное легкомысленному, но честному маньяку Бенни звание шпиона было усвоено ему и удерживается за ним даже и до сего дня, с упорством, в котором поистине не знаешь чему более удивиться – глупости или злобе ничтожных людей этой низкой «партии», давшей впоследствии неожиданно самых лихих перевертней еще нового фасона.

Глава двадцать девятая

Бенни, уехавший из Петербурга герценовским эмиссаром и возвратившийся сюда всего через месяц шпионом, про- слышав о темном и пошлом коварстве господ люстраторов, уличил здешних друзей своих во вскрытии и задержании его писем и отшатнулся от этих людей, столь бесцеремонно поступивших и с чужими тайнами, и с чужими репутаци- ями. Наученный посредством своих московских столкнове- ний, что в среде так называвшихся тогда «постепеновцев» гораздо более уважают те правила жизни, в которых вырос и которые привык уважать сам Бенни, он не стал даже искать работы у литераторов-нетерпеливцев и примкнул сначала на некоторое время к редакции «Русского инвалида», которую тогда заведовали на арендном праве полковник Писаревский и Вл. Н. Леонтьев. В этой газете Бенни работал недолго и скоро перешел из «Инвалида» в редакцию «Северной пче- лы». В «Северной пчеле» Бенни успокоился. Лица, состав- лявшие тогда редакцию этой газеты, не давали ни малейшей веры толкам, распускаемым досужими людьми о шпионстве Бенни. Бенни, ужасавшийся того, что его ославляют шпио- ном, впрочем, входил в новую компанию осторожно. Так, на- пример, он упросил покойного В. В. Толбина сказать всем участвующим в «Пчеле», что о нем, Бенни, распространены такие-то и такие-то слухи; Толбин это исполнил в точности,

и однажды, при всех сотрудниках газеты, за завтраком у П. С. Усова назвал Бенни в шутку «шпионом». Эта шутка всех передернула, но когда Толбин затем разъяснил в чем дело, то все протянули Бенни руки и стали просить его забыть перенесенную им от недобрых людей обиду и успокоиться. Таким образом Бенни вошел в редакционную семью не прежде, как получив от всех общее подтверждение, что дурным слухам на его счет здесь никто не верит.⁶

⁶ Редакция «Пчелы» состояла тогда из П. С. Усова, П. И. Мельникова (Печерского), П. И. Небольсина, Н. П. Пероziо, С. Н. Палаузова, В. В. Толбина, И. Н. Шиля, К. П. Веселовского и меня, и никто из нас не питал к покойному Бенни никаких неприятных чувств и ничего худого за ним не знал. Расположенность к нему была так велика, что известный своею деликатностью Павел Степанович Усов даже вида не подавал Бенни, что он, г-н Усов, получал *внушения* не держать Бенни в числе своих сотрудников. Об этом обстоятельстве, известном очень многим живым до сего времени людям, стоит упомянуть в доказательство, что Бенни никогда не был протезируем никаким особым ведомством, а, напротив, из-за него выпадали хлопоты тем, кто с ним водился. Таких хлопот, и подчас довольно серьезных неприятностей, вволю выпадало на долю нескольких лиц, но более всех досталось на мою. Помимо тех низких клевет, которые распускали на мой счет люстраторы бенниевских писем за то, что я не разделял мнений, к которым они настроивали всех, кого могли, и создали благородному юноше горестную славу и в других сферах, где Бенни тоже был на примете, близость моя с этим человеком казалась столь подозрительною, что самое невиннейшее мое желание, отправляясь за границу, проехать по Литве и Галичине подало повод к наведению обо мне весьма курьезных справок. Артур Бенни стал в такую позицию, что к нему даже не дозволялось питать самые позволительные чувства дружества по простым побуждениям, а, дружась с ним, человек непременно должен был попадать в подозрение или в революционерстве, или в шпионстве, или же и в том и в другом вместе и разом, по пословице: «гуртом выгодней». (Прим. Лескова.).

Отношения загнанного в чужой лагерь предпринимателя с новыми его товарищами были прямы, мягки, открыты и недвусмысленны. Да и сам Бенни, после всех заданных ему нравственных встрепок, не бредил более русской революцией, хотя и после всех этих данных ему уроков не избегал вечных тяготений к революционным людям. Он никогда не прерывал с некоторыми из них своих сношений, никогда не забывал о заботах оправдаться в возведенном на него вздоре и, наконец, попал под уголовный суд по оговору того же Ничипоренки. Поводом к этому было следующее обстоятельство, тоже довольно комического свойства, но кончившееся для многих весьма трагически.

Глава тридцатая

Раскаявшийся прощенный русский эмигрант герценовской партии В. И. Кельсиев, считаясь тогда в изгнании и именуясь «не осужденным государственным преступником»,⁷ проезжал из Англии через Петербург в Москву для свидания с тамошними раскольниками, которым впоследствии этот визит наделал кучу хлопот, а приютившему Кельсиева московскому купцу, Ивану Ивановичу Шебаеву, стоил даже продолжительной потери свободы, чего старушка мать Шебаева не перенесла и умерла, не дождавшись решения судьбы арестованного сына. Василий Кельсиев ехал в Москву с паспортом турецкого подданного Яни, или Янини. В Петербурге Кельсиев останавливался на короткое время у Бенни, квартировавшего в то время на Гороховой близ Каменного моста, в доме № 29. Про то, что Кельсиев пристал у Бенни, на несчастье сего последнего случайно сведал Ничипоренко; он знал также и то, что когда Кельсиев опасался сам идти для визирования своего паспорта, то Бенни взял всю эту рискованную процедуру на себя и благополучно получил визу на фальшивый паспорт Кельсиева. Ничипоренко

⁷ Такое *звание* принадлежало не одному В. И. Кельсиеву, а его, в официальных бумагах, давали и покойному Алек. И. Герцену и многим другим, но что такое собственно значит «не осужденный государственный преступник», это пусть решат гг. юристы. (*Прим. Лескова.*)

был в восторге от этой проделки и разронял эти новости повсюду, а вскоре после секретной побывки Кельсиева в Петербурге он ездил с упомянутым в сенатском решении по этому делу акцизным чиновником и театральным писателем Николаем Антип. Потехиным в Лондон к Герцену для тех сношений, для которых давно прочили Ничипоренку петербургские друзья Герцена. Покойному Герцену Ничипоренко необыкновенно понравился. Герцен на нем совершенно срезался; он нашел в Ничипоренке то, чего в нем не было ни следа, ни зачатка, именно он отыскал в нем «*большой характер*» и немедленно же отписал об этом в Петербург В. С. Курочкину и Н. Г. Чернышевскому. Ничипоренко в качестве «большого характера» снискал у Герцена огромное доверие и, получив от него полномочие для дальнейших переговоров, взялся доставить какие-то важные революционные бумаги к белокриницкому митрополиту Кириллу. Это была цветущая, золотая пора Андрея Ив. Ничипоренко – пора, когда он забыл от счастья все свои неудачи при нижегородских «предприятиях». Теперь он был *особа*, а Николай Антипыч Потехин (так читано в решении сената) только был при нем в качестве подначального «доброе малого и болтуна».

Получив от Герцена так называемые «важные бумаги», скомпрометировавшие впоследствии великое множество людей, Ничипоренко, однако, не довез их к митрополиту Кириллу. Он испугался угрожающего ему обыска и бросил все эти бумаги под прилавок в одной из австрийских та-

можен. Там эти герценовские бумаги без всяких хитростей были найдены убиравшим комнату сторожем, представлены по начальству, прочитаны и чрез кого следует доставлены русскому правительству. Ничипоренко во все это время пребывал в совершенном спокойствии. Беспечность и безрассудство этого человека были так велики, что он даже вовсе не придавал никакого значения тому, что бросил в таможене, посреди фискальных чиновников, секретные революционные бумаги. Он считал все это вздором и благополучно приехал в свои родные Прилуки, вступил в должность, которую ему его петербургские друзья устроили по акцизному ведомству, и сел было здесь спокойным обывателем, как вдруг был арестован и увезен в Петербург.

Глава тридцать первая

В показаниях своих, которые Ничипоренко писал с каким-то азартом покаяния и увлечением поклепа, он записывал все и всех, кого знал и что помнил. Если бы теперь в ходу были пытки, то можно бы подумать, что этого человека душили, жгли, резали и пилили на части, заставляя его оговаривать людей на все стороны, и что он под тяжкими муками говорил что попало, и правду и неправду, – таковы его необъятнейшие воспоминания, вписанные им в свое уголовное дело, где человеческих имен кишит, как блох в собачьей шкуре. Среди таких воспоминаний он вдруг, ни с того ни с сего, вспомнил и о проезде через Петербург В. И. Кельсиева, и о том, что Кельсиев в Петербурге был у Бенни. Все это Ничипоренко тотчас же собственноручно самым аккуратным образом записал в свое показание, заметив при этом кстати, что это он говорит *«о том самом Бенни, ездивши с которым в Орел, он заезжал с ним по знакомству во Миценскую деревню Ив. Серг. Тургенева»*.⁸ Таким образом Ничипо-

⁸ Невозможно понять, с какою целью покойный Ничипоренко при следствии вызывал из своей памяти самые пустые события, о которых его никто не спрашивал, а иногда просто даже сочинял, чтобы только приписать в свои показания чье-нибудь новое имя. Так он, например, вспомнил между прочим и обо мне и, описывая какой-то сторонний случай, вставил кстати, что «в это де время я познакомился с литератором Лесковым, который своим образом мыслей имел вредное влияние на мои понятия», и далее опять о постороннем. Я сам не читал

ренке удалось приобщить к делу разом двух своих добрых знакомых: Артура Бенни, который жил в это время в Петербурге, и Ив. Серг. Тургенева, который в это время уже находился за границею, но по этому случаю тоже привлечен был к ответу и приезжал сюда из Парижа. Бенни тоже был, разумеется, призван в следственную комиссию, и на вопросы, сделанные ему насчет указанного Ничипоренком проезда г-на Кельсиева через Петербург с паспортом Яни, крепко-накрепко заперся, хотя следователи и убеждали Бенни не запирается, выставляя ему на вид, что это уже бесполезно, потому что Ничипоренко все расписал, но Артуру Бенни казалось, будто его выпытывают, что у членов комиссии есть только подозрение, что г-н Кельсиев проезжал через Петербург, но достоверных сведений об этом нет, а потому Бенни и не видал побудительных причин открывать это «событие». Но в деле действительно было уже собственноручное показание Ничипоренки, в котором подробнейшим образом описывалось пребывание г-на Кельсиева в Петербурге и тем самым доказывалось преступное запирательство Бенни, вмененное ему впоследствии в число обстоятельств, усиливших

этих касающихся меня строк, но слышал о них от Бенни и от Тургенева, которым я вполне верю, а они имели случай читать дело Ничипоренко. По этому поводу я тщательно припоминал себе все мельчайшие подробности моих сношений с Ничипоренко, с которым мы одно время жили вместе у профессора И. В. Вернадского, но ничего не мог припомнить, чем бы я его мог совратить с доброго пути? Разве тем, что мы с проф. Вернадским иногда позволяли себе слегка воздерживать его от увлечений революциею да *предсказывали* ему его печальную судьбу, которая с ним, на его несчастье, вся и исполнилась? (Прим. Лескова.).

его вину. Бенни была предложена очная ставка с Ничипоренко, который сам вызвался уличить Бенни в том, что Кельсиев действительно был в Петербурге; но Бенни, не хотя доводить Ничипоренко до этого во всяком случае малоприятного труда, удовольствовался одним представленным ему собственноручным показанием Ничипоренки *и признался и в передержательстве Кельсиева, и в своем умышленном заpiresательстве на первом допросе.* После этого у Бенни был немедленно отобран паспорт на прожитие в России, и он попал под суд. Правда, что у него никогда не был взят его английский паспорт, с которым он во всякое время мог бы свободно перебежать за границу, как перебежал за границу Кельсиев с паспортом Яни (что со всею откровенностию самим же гном Кельсиевым и рассказано в книге его покаяний и признаний). Бенни имел все возможности уйти из России даже без хлопот и без риска, но он не хотел этого сделать, опасаясь, что его побег даст делу ничипоренковского посольства к Герцену характер важного заговора и увеличит в глазах правительства вину несчастного Ничипоренко. Дело это шло очень долго. Бенни во все время тихо и мирно сотрудничал в «Северной пчеле» и, вспоминая порою о своих попытках произвести в России вдруг общую революцию с Ничипоренком, искреннейшим образом над собою смеялся, негодуя на тех русских социалистов, которых нашел, но неуклонно стремясь отыскать других, которые, по его великой вере, непременно должны где-то в России таиться... Иначе он ни-

когда не думал, да и можно ли его винить, что он не знал России, когда сам хиротонисавший его Герцен был тех же самых мнений и уповал и хвалился, что «он создал поколение бесповоротно социалистическое»? Чего после этого можно спрашивать с человека, совершенно чуждого русской почве?

Между тем в это же время Бенни, сталкиваясь с различными людьми столицы, сделал себе несколько очень хороших знакомств. Его отличали и любили в весьма почтенных домах, у людей, занимавших в то время видные места в правительстве. У Бенни были хорошие юридические способности и довольно большая начитанность в юридической литературе. Зная это, два сенатора, в домах которых Бенни был принят, старались открыть ему юридическую карьеру. Он, после нескольких колебаний, согласился на это и начал сдавать в университете кандидатский экзамен. Казалось, вот-вот этот бедный молодой человек ускользнет от мелких дрызг суетной жизни, выйдет на солидную дорогу, на которой его могут ждать и благородный труд, и благодарная деятельность, и доброе имя, но ничему этому не суждено было совершиться. Горячий, как бы весь из одного сердца, нерв и симпатий сотканый, Бенни снова был увлечен круговоротом ежедневных событий: благие намерения его заменились другими, хотя и не злыми, но эфемерными, и он снова попал в положение, которое дало известный повод еще с большим ожесточением распространять о нем вздорные слухи.

Глава тридцать вторая

Поводом к новым неприятностям для Бенни был известный апраксинский пожар, которому предшествовало несколько меньших, быстро один за другим следовавших пожаров. Тогда везде говорили, что эти пожары происходят будто от поджогов; даже утверждали, что это не простые грабительские поджоги, а поджоги, производимые «красными» с целию взбунтовать народ. Об этом есть свидетельства у романистов Писемского и у Крестовского (см. «Взбаламученное море» и «Панургово стадо»), да это, наконец, столь общеизвестно, что и не нуждается ни в чьих свидетельствах. Бенни, работая в редакции газеты, куда, разумеется, притекали подобные слухи, все это слышал и знал все эти толки. Но, кроме того, в самый день апраксинского пожара Бенни был свидетелем ужасного события: он видел, как, по слуху, распространившемуся в народе, что город жгут студенты, толпа расвирепевших людей схватила студента Чернявского (впоследствии один из секретарей правительствующего сената) и потащила его, с тем, чтобы бросить в огонь, где г-н Чернявский, конечно, и погиб бы, если бы ему не спас жизнь подоспевший на этот случай патруль (происшествие это в подробности описано в первом томе моих рассказов). Другого студента, родом поляка, г-на К-го (товарища Бенни по Пиотрковской гимназии) избили до полусмер-

ти, и он спасся лишь тем, что начал креститься по-православному и забожился, что он не студент, а «повар княгини Юсуповой». Как уже тут ему, бедному, в этом страхе пришла в голову эта счастливая мысль – не знаю, но только она спасла его: ему дали еще несколько толчков и прогнали «*тарелки лизать*». Этого избитого, в разорванном платье горяюна, по просьбе одного из членов редакции «Северной пчелы», спрятал дворник, некогда служивший в доме Н. И. Греча.⁹ Энергичный Бенни, бывший свидетелем этого события, услышав злой рев: «В огонь студентов! Студенты жгут!», выкрикнул громко: «Неправда, неправда! Студенты не жгут, а гасят», и с этим вскочил на одну пожарную трубу, где качальщики, видимо, уставали, и начал работать. За ним последовали три знакомые ему университетские студента и два литератора, и все они начали качать воду. «Видите, мы студенты, и мы гасим, а не поджигаем», – бодро и смело крикнул Бенни в толпу с трубы. Толпе это понравилось, и из нее раздались одобрительные голоса: «Хорошо, барин, хорошо! молодец! работай!»

Несколько мещан вскочили и начали качать вместе со сту-

⁹ Судьба этого находчивого сармата, спасшегося под именем юсуповского повара, тоже не без интереса. Отправленный «лизать тарелки», он и в самом деле прекрасно было пристроился «при милости на кухне» большого барского дома, но повстанческим террором был отторгнут от сытной трапезы (которую безмерно любил) и увлечен в литовские леса, где и убит при стычке банды с русскими войсками, причем представилась такая странность: на груди его чамарки нашли пришитую русскую медаль за Крымскую войну... Вероятно, он это припас про всякий случай. (Прим. Лескова.).

дентами. Так это и уладилось благодаря энергии и находчивости Бенни.

Возвратясь домой (Бенни жил в редакции, где все в это время заняты были обстоятельствами ужасного бедствия), Бенни разделял общее мнение, что вредных толков, распространяющихся в народе о том, что Петербург поджигают студенты, скрывать не следует, а, напротив, должно немедленно и энергически заявить, что такие толки неосновательны и что, для прекращения их, полиция столицы обязана немедленно назвать настоящих поджигателей, буде они ей известны. Так это, с общего согласия, и было «Северною пчелою» сделано. В передовой статье номера, вышедшего на другой день после пожара, было от слова до слова сказано следующее: *«Во время пожара в толпах народа слышались нелепые обвинения в поджогах против людей известной корпорации. Не допуская ни малейшего основания подобным слухам, мы полагаем, что, для прекращения их, полиция столицы обязана назвать настоящих поджигателей, буде они ей известны»*. Было сказано ни более ни менее как именно то, что здесь приводится. Полиция, разумеется, ничего этого, в защиту чести студентов, не сделала, а некоторые смутьяны по злобе ли или по глупости угораздились усмотреть в приведенных строках не только какую-то обиду «молодому поколению», но даже и обвинение его в поджигательствах!! И вот утром, в один из ближайших дней после пожара, к Бенни в редакцию явились два человека, назвавшие себя «де-

путацией от молодого поколения». Депутация эта представала с укором Бенни (как будто он, а не другое лицо было редактором газеты) и с требованием, чтобы Бенни заявил всем участвующим в газете, что это «обвинение молодого поколения в поджогах так не пройдет никому, а особенно тому, кто писал передовую статью». На имя этого угрожаемого сотрудника были присланы два анонимные письма, что он «будет убит близ Египетского моста», чрез который тот действительно часто ходил в одно знакомое ему семейство и возвращался оттуда ночью один и большею частью пешком. Теперь, впрочем, кажется, можно уже без обиняков сказать, что этот угрожаемый сотрудник был не кто иной как я сам, пишущий эти строки.

Но возвращаемся к Бенни. При всех этих допросах, угрозах и заявлениях «депутатов молодого поколения» Бенни опять вдруг потерял свою деликатную выдержанность и забылся до резкости. После попытки разъяснить «депутатам молодого поколения», что они не умеют читать по писанному, что взволновавшая их статья самым искренним образом направлена в защиту студентов от клеветы, а не в обвинение их, Бенни назвал депутатов людьми, лишенными смысла, и выпроводил их от себя вон довольно бесцеремонным образом. Но тут пылкий и неудержимый в преследовании всех своих целей Бенни опять выкинул штуку, очень благонамеренную, но которая была понята бог знает как и снова причинила ему много досады и горя.

Глава тридцать третья

Освобождаясь от депутатов молодого поколения, Бенни немедленно же отправился к бывшему в то время с. – петербургскому обер-полицеймейстеру Анненкову с самою странною и неожиданною просьбою, объясняемою единственно лишь только пылкостью характера Бенни и его относительным незнанием петербургских нравов. Не упоминая, разумеется, ни одного слова о приходившей к нему с угрозами депутации молодого поколения, Бенни просил генерала Анненкова, во внимание к распространившимся в столице ужасным слухам, что в поджогах Петербурга принимают участие молодые люди, обучающиеся в высших учебных заведениях, дать этим молодым людям возможность разрушить эти нелепые и вредные толки, образовав из себя на это смутное время волонтеров для содействия огнегасительной команде. Бенни доказывал обер-полицеймейстеру Анненкову, что мера эта совершенно безопасна и дозволяется почти везде за границею, да и у нас в Риге, а между тем она и усилит средства огнегасительной команды, когда будет являться в помощь ей на пожары, и в то же самое время докажет, что у молодых людей, из которых она будет набрана, нет ничего общего с зажигателями. В священной простоте своей Бенни, объясняя свой план генералу Анненкову, ни на минуту не сомневался, что молодые люди, о которых он хлопотал, так и кинутся

в волонтеры-гасители. Он и не подозревал, что в кружках, где распоряжались от лица «молодого поколения», не было и малейшего поползновения оправить и очистить студентов от подозрений, а, напротив, вся забота состояла в том, чтобы представлять самих себя *в опасном положении*, чтобы только свирепеть и злобствовать, выводя из всех этих пустяков необходимость непримиримой вражды... С кем и за что? – тогда разобрать было невозможно. Между же тем не совсем укладистая мысль Бенни не была вдруг отвергнута обер-полицеймейстером. Генерал Анненков попросил Бенни изложить его мысль о волонтерах на бумаге, и Бенни подал об этом генералу обстоятельную записку, и в течение некоторого времени осуществление волонтерской команды казалось возможным. В это время «Пчела» эту мысль поддерживала, а другие тогдашние петербургские газеты (впрочем, не все) вдруг ополчились против хлопот Бенни и нашли в них нечто столь смешное и вредоносное, что не давали ему прохода. Всегда отличавшаяся близорукостью и полным отсутствием политического такта сатирическая газета «Искра» хохотала над этой затеею учредить волонтеров, и мало того, что издавалась над нею в прозе и в стихах, она еще рисовала Бенни разъезжающим на пожарной трубе вместе с другими сотрудниками «Пчелы», которые не принимали в этих хлопотах Бенни ни малейшего непосредственного участия. Дело было осмеяно, студенты в него теперь не пойдут. Все замущено и одурачено, никто не разберет, что хорошо и что дурно.

но... Этого только и надо! Встретив такое противодействие своей мысли не со стороны администрации, а со стороны прессы – откуда Бенни, в святой простоте сердца, ждал только одной поддержки, – он даже растерялся от этой бестактности, казавшейся ему совершенно невозможной. Осмеянный и обруганный, он бросил все свои хлопоты о волонтерской команде и опять взялся за свой кандидатский экзамен с целью сдать его и со временем искать места присяжного поверенного при ожидавшихся тогда новых судах. С этих пор Бенни решил было совсем удалиться от всяких русских революционных деятелей. Но живая, впечатлительная натура его, при полном отсутствии всякой устойчивости, не позволяла ему и на этот раз остаться в стороне от вопросов дня, волновавших тогдашних хлопотунов. В это время в Петербурге разгорался так называемый «женский вопрос». Бенни непременно надо было попасть и сюда; надо было впутаться и в этот «вопрос», имевший для него впоследствии более роковое значение, чем все его прежние предприятия.

Глава тридцать четвертая

Многим известно, что как только здесь, в Петербурге, был поднят «женский вопрос», он тотчас же не избежал общей участи многих вопросов, обращенных в шутовство, с которыми деятелям того времени удалось сблизить и общественную благотворительность, и обучение грамоте народа, и даже бесстрастное преподавание естественных наук и многое другое. Пока в петербургских журналах печатались разные теоретические соображения насчет нового устройства женского пола, в жизни практической объявились некоторые специалисты по женской части. Эти практиканты начали направлять бездомных и отбившихся от семейств женщин в типографии. Что за выгодную статью видели эти люди в типографской работе и почему наборничество казалось им, например, прибыльнее часовничества, гравированья, золоченья и других ремесел, в которых женщина вполне может конкурировать с мужчиной? – это так и остается их тайною, а полицию это предпочтение типографского труда натолкнуло на подозрение, что тут дело идет не о женском труде, не об обеспечении женщин, но об их сообщничестве по прокламаторской части. Это была почти самая первая и едва ли не самая большая и вредная ошибка со стороны администраторов женского вопроса, по крайней мере с этого начинались подозрительные взгляды на труд женщин. Но теорети-

ков никакое подозрение не образумливало, а только сердило, и они еще более утверждались в убеждении, что приучением женщин работать в типографиях можно достичь благодетельной реформы в судьбах русской женщины и положить начало практическому разрешению женского вопроса. Специалисты-практиканты взялись все это осуществить. Здесь не место рассказывать, сколько тут было обличено лжи, безнравственности и притворства и как невелико было число людей, искренно готовых приносить какие бы то ни было жертвы на пользу женщин. Именно, их можно бы даже без затруднения всех пересчитать здесь по пальцам, и они давно отмечены от толпы шарлатанов, искавших в этой суматохе только лишь случая репетировски «пошуметь» во имя женского вопроса (очень часто во вред делу), или просто с целию пользоваться трудным положением женщин, когда те, отбившись от семей и от преданий, охранявших их женственность, увидят себя на распутии, без средств и без положения. К сожалению, со стороны многих людей это было то же самое мирское лукавство, от которого женщина страдает повсюду. Волки только надели овечьи шкурки... Число искренних людей, желавших собственно облегчить тяжкий женский заработок, в столице было самое маленькое, и Бенни был одним из первых в этом небольшом числе. Он начал с того, что ввел в редакцию «Северной пчелы» несколько дам и девиц в качестве переводчиц. Особы эти должны были работать под его надзором, но работы, к сожалению, делалось очень мало...

Большое помещение, которое имел Бенни при редакции, в доме Греча, с этих пор каждый день было переполнено мужчинами, которые сюда были введены В. А. Слепцовым, чтобы могли видеть, как он будет «учить и воспитывать дам». С этих пор по всем комнатам во всех углах раздавались жаркие дебаты о праве женщин на труд, а на всех рабочих столах красовались – курительный табак, папиросные гильзы, чай и самые спартанские, но самые употребительные здесь яства: молоко и норвежские сельди. Неисповедимым путям всеохраняющего провидения угодно было, чтобы селедки, плавающая в молоке, в желудках милых дам и благородных мужчин «греческой фаланстеры» не причиняли ни малого вреда питавшимся ими деятелям. Работою здесь серьезно никогда не занимались; ею только изредка пошаливали две из посещавших редакцию дам, но и то работа эта большею частию была никуда не годная: Бенни все переделывал сам и только отдавал работницам мнимо следовавший им гонорар. Бенни вскоре же увидел, что из его усилий создать женскую atelier¹⁰ не выходит ничего похожего на atelier, но терпел ее в том виде, какой она принимала по воле и по вкусам приходивших развивателей. До чего это дошло бы? – это предсказать трудно; но, на счастье Бенни, atelier его скоро стала рассыпаться: две из его работниц, обладавших большею против других практичностью и миловидностью, вышли замуж церковным браком за нигилистничавших богатых юно-

¹⁰ мастерская (франц.).

шей (одна из них теперь даже *княгиня*), а остальные, обладавшие меньшею практичностью, устроились менее прочно, но все-таки и эти, наскучив так называвшимся «бенниевым млеком», мало-помалу оставили его atelier. Сам же Бенни в это время додумался, что нужно заботиться о том, чтобы приурочить к труду *простых* женщин, а не барышень и не барынь, в которых он разочаровался.

Бедный Бенни и не воображал, что «простая русская женщина» уже и без него давно так приурочена к труду, что на нее не только нельзя ничего накидывать, но, напротив, давно надо позаботиться, чтобы избавить эту женщину хотя от части ее трудов. Крайнее непонимание жизни, врожденная легкомысленность и отвычка вдумываться в дело, приобретенная двухлетним вращением среди вопросов, не составляющих вопроса, пустила Бенни увлекаться по этому пути заблуждения. Да и это бы еще ничего, но он пошел увлекать на этот путь тех, которые имели неосторожность на него полагаться. На зарабатываемые своим литературным трудом деньги Артур Бенни приобрел четыре типографских реала и поставил за них четырех наборщиц. Девушки, начавшие учиться за этими реалами типографскому делу, были: одна – бедная швея, не имевшая о ту пору работы, другая – бедная полька, жившая субсидиями Огрызко, третья – бедная дворянка, дочь едва двигавшей ноги старушки, которую дочь содержала своими трудами, а четвертая – капризная подруга одного из мелкотравчатых писателей. Но с этими женщи-

нами у Бенни тоже дело не пошло, да и не могло идти, как не шли все его предприятия, потому что Бенни, которого простодушные люди считали хитрым, был легкомыслен как дитя. Он, этот трагикомический «натурализованный английский субъект», пришедший к нам с мыслию произвести социально-демократический переворот в России, сделавшись антрепренером четырех типографских реалов из чужой типографии, выказал такую неспособность организовать работу, что это новое его серьезнейшее предприятие обратилось в самый смешной анекдот. Оказалось, что Бенни не только не имел и такой основательности, какая непременно бывает у каждого мелкого ремесленника, открывающего маленькую собственную мастерскую, но что у него не было даже предусмотрительности босоногого деревенского мальчишки, сажающего для своей потехи в клетку чижа или щегленка. Тот, сажая птичку, заботится припасти для ее продовольствия горсть конопель или проса, а Бенни взял четырех совершенно бедных женщин с условием доставлять им содержание до тех пор, пока они выучатся и станут печатать книги, и упустил из виду, что это содержание вовсе не дебаты о труде, а нечто вещественное, что его надо было своевременно приобрести и запасти. Он не сообразил, что ученицы, шедшие к нему на определенное готовое положение, были совсем не то, что прежние его сотрудницы, барышни-переводчицы, хотя и получавшие задельную плату с переведенной строчки, но имевшие все-таки кусок хлеба и без этого заработка. Его

новым, бедным работницам надо было давать четвертым восемьдесят рублей в месяц, хотя бы они не выработали и на восемьдесят копеек.

Имея возможность зарабатывать в ежедневной газете от трехсот до пятисот рублей в месяц, Бенни, конечно, не зарывался, считая себя в силах давать своим ученицам ежемесячно восемьдесят рублей, – он мог давать им эти деньги; но он упустил из вида одно важное условие, что для получения денег он должен был продолжать работать, а ему в это время стало не до работы. Пока Бенни учреждал свою женскую типографию, другой литератор (имя которого всецело принадлежит истории комического времени на Руси) учредил в Петербурге упомянутую в «Панурговом стаде» г-на Крестовского «коммуну», где поселилось на общежительство несколько молодых дам, девиц и кавалеров. В числе приехавших в эту коммуну из Москвы женских членов была одна девица из очень хорошего московского дома. Ей суждено было произвести на Бенни то сильное и неотразимое впечатление, которое на человеческом языке называется любовью...

Девушка эта, наделенная от природы очень способною головою, но беспокойнейшим воображением, не поладив с порядками родительского дома, приехала из Москвы с намерением жить в Петербурге своим трудом.

Справедливость требует, упоминая здесь об этой девушке, заметить, что тот бы очень погрешил, кто стал бы думать

о ней, как позволяли себе думать некоторые другие, шедшие тою дорогою, на которой показалась и она. Девушка К. была личность юная, чистая, увлекавшаяся пламенно, но по разуму своему скоро обнимавшая вопрос с разных сторон и с тех пор страдавшая сомнениями, обращавшимися для нее в нравственные пытки. Безукоризненная чистота ее образа мыслей и поведения всегда были превыше всяких подозрений, но она несла разные подозрения, и несла их в молчаливом и гордом покое, в котором эта «маленькая гражданка» (как мы ее называли) была чрезвычайно интересна. Она, подобно Бенни, глубоко и искренно верила в то, чем увлекалась, и Артур Бенни сразу же это отметил в ней и... полюбил ее. Бенни устремился угождать ей отыскиванием для нее переводной работы, исправлением ее переводов и их продажей. Потом, когда уставщик коммуны однажды неосторожно оскорбил эту девушку, являсь в ее комнату в костюме, в котором та не привыкла видеть мужчин, живучи в доме своего отца, — она заподозрила, что в коммуне идет дело не об усиленном труде сообща, и, восстав против нравов коммуны, не захотела более жить в ней. Понадобились хлопоты Бенни об устройстве оскорбленной девушки в каком-нибудь частном доме. Все это требовало времени и денег, а работа не делалась; заработков у Бенни не было, и четыре засаженные им в типографию пташки оставались без корма.

Глава тридцать пятая

Таким образом, типографское предприятие Артура Бенни и его покровительство русским женщинам постигла участь всех прежних предприятий этого увлекавшегося юноши: оно не годилось с самого начала. Ученицам нечего было есть. Бенни делился с ними, он отдавал им, что было. А у него, при его бездействии, бывали ничтожные рублишки, и то не во всякое время. Все это, разумеется, ничего не помогало. В середине учениц произошло нечто вроде восстания, которым в качестве литературной дамы предводительствовала подруга писателя. Она не хотела слышать ни о каких отсрочках и на втором же месяце шумно покинула кооперативное учреждение. Три остальные были терпеливее и выносливее, но однако мало-помалу и они отстали. Швея ушла шить; полька ушла «do familii»,¹¹ а одна продолжала ходить и училась, питаясь бог весть чем, как птица небесная. Она выдержала так четыре месяца и поступила потом корректором в другую типографию. Засим исчез и след женской типографии Артура Бенни, и на месте ее стала «мерзость запустения».

В это время Бенни посетила тяжелая болезнь и нищета, к которой он привел себя предшествовавшим своим поведе-

¹¹ в семью (польск.).

нием и из которой, упав духом, не мог выбиться до самой высылки его, по решению сената, за русскую границу в качестве «англичанина». Средства, к которым Артур Бенни прибегал для того, чтобы, имея некоторый талант и знания, при отменной трезвости и добросовестности в работе, доходить порой до неимения хлеба и носильного платья, были самые оригинальные.

Бескорыстное служение Бенни неспособным переводчикам, его возня с капризными жилищами коммуны, его женская типография и вообще многие другие его поступки, свидетельствовавшие о его бесконечной простоте и доброте, обратили на него внимание некоей литературной черни, решившей себе, что «он *Филимон простота*». У Бенни была большая квартира; у него был или бывал иногда кое-какой кредит; он один, с его начитанностию и с знанием нескольких европейских языков, мог заработать втрое более, чем пять человек, не приготовленных к литературной работе. Пятеро из людей такого сорта (один не окончивший курса студент, один вышедший в отставку кавалерийский офицер, один лекарь из малороссиян, один чиновник и один, впоследствии убитый в польской банде, студент из поляков) устремились овладеть священнейшею простотою Бенни, чтобы жить поспокойнее на его счет. Устремились они к этому довольно одновременно, так что ни одному из них не удалось обратить Бенни в свою исключительную частную собственность. Понимая друг друга, как рыбак рыбака, и боясь

один другого, как иезуит иезуита, достопочтенные люди эти решились, скрепя сердца свои, владеть Артуром Бенни сообща, в компании, на коммунистических началах. Они склоняли его к мысли устроить у него мужскую atelier. Бенни и в этом не отказал, и коммунисты поселились у него все разом. Условием этой однополой коммуны было, чтобы никому между собою ничем не считаться. Кто что заработает, кто что принесет, кто что истратит, чтобы это все было без контроля и без счета. Бенни верил, что это гораздо более по-русски, чем в общежительной коммуне, откуда бежала «маленькая гражданка» и где каждый брал заработки в свои руки, а только лишь расходы велись сообща. Это и точно вышло по-русски. Наглости артельщиков Бенни не было и не может быть ничего равного и подобного. Это ничего почти не выразит, если мы, по сущей справедливости, скажем, что сожители его обирали, объедали, опивали, брали его последнее белье и платье, делали на его имя долги, закладывали и продавали его заветные материнские вещи, – они лишали его возможности работать и выгоняли его из его же собственной квартиры. Чтобы передать хотя сотую долю того, что проделывали с этим добрейшим человеком поселившиеся у него лже-социалисты, надо писать томы, а не один очерк, и при том надо быть уверенным, что пишешь для читателя, который хотя сколько-нибудь знаком с нравами подобных деятелей, свирепствовавших в Петербурге в эпоху комического времени на Руси. Иначе каждый человек, не выдавший по-

добных вещей, подумает, что ему рассказывают вымысел и сказку, – так все это, поистине, чудно и невероятно. Если бы Бенни не вел своего дневника и не оставь он никаких бумаг, то трудно, может быть, было бы решиться рассказать и то, что до сих пор рассказано в этой «Беннеиде»; но благодаря этим бумагам когда-то объявятся миру еще не такие чудеса «комического времени» и, читая их, конечно, не один потомок вздохнет и покраснеет за своего предка.

Глава тридцать шестая

Еще раз приходится упомянуть, что Артур Бенни был *девственник*. Хотя, собственно, это его личное дело, но об этом нельзя не упомянуть, потому что этим объясняется нечто такое, о чем наступает очередь рассказывать. До высылки Бенни из России многие, близко знавшие этого юношу, знали и его целомудренность. Такой целомудренности лучшая из матерей могла бы пожелать своей нежно любимой дочери, и девушка эта имела бы право называться скромнейшей из девиц своего времени. Артур Бенни не только не любил никакого нескромного слова и смущался при виде обнаженной женщины на картине, но он положительно страдал от всякого нескромного разговора и не раз горестно жаловался на это автору настоящих записок. Говоря о женщине (знакомой или незнакомой – это все равно), но говоря о ней цинично, как иные любят говорить, думая, что это очень интересно, Бенни можно было довести или до слез, или до столбняка, что не раз и случалось. Артельные сожители Артура Бенни знали за ним это и создали ему из его стыдливости нравственную пытку. Им претила его нравственная чистота и его несносная для них целомудренность. Они начали толковать, что этот «порок» мешает Бенни быть полезным деятелем.

– Он не шпион, а он михрютка, не знающий, где раки зимуют, – сказал о нем однажды всей его компании один белле-

трист, имевший одно время значение в некоторых кружках, примыкавших к «*общежительной коммуне*». – Оттого, – говорил беллетрист, – и все действия Бенни странные, оттого-де он и выходит таким шутком. Это можно, мол, доказать и с физиологической точки зрения: посмотрите-де только на старых девушек и монахинь, и т. п.

Беллетрист резонировал бархатным баском; ему внимали его сателлиты и нашли, что все им сказанное на эту тему действительно очень умно и резонно. Поощряемый таким сочувствием, оратор и деятель заключил, что Бенни надо *перевоспитать*, что из него «надо выбить дурь английской морали» и сделать из него такого человека, как все они. Решение это тотчас же было принято всеми сожителями Бенни, крайне заинтересовавшимися на этот раз бедственной судьбою своего кормильца. Проживавшая на хлебах у Бенни артель давно тяготилась отсутствием в их казарме женского элемента. Правда, приходили туда к ним иногда в гости некоторые дамы, но они должны были и уходить оттуда с чинностью, к которой волей-неволей обязывало их присутствие скромного хозяина. Нахлебники Бенни находили, что это со стороны их хозяина даже своего рода деспотизм, что таким образом, через его чудачества их собственная, дорогая им жизнь утрачивает очень много своей прелести и «*гречевская фаланстера*» (как называли сами они квартиру Бенни) теперь, по его милости, скорее не фаланстера, а раскольничий скит, да еще с скопцом игуменом. Теперь решено было, что все это

действительно несносно и что необходимо, чтобы с этого же дня все здесь шло по-другому. Составлен был план, как действовать на Бенни. Молодец, руководивший всем этим делом, прежде всего вменил в обязанность всем изменить свое обращение с Бенни. До сих пор все знавшие Бенни остерегались при нем всяких скабрёзных разговоров, цинических выходок и слов, которых Бенни не переносил; теперь было решено «ошколотить его» и приучить его *ко всему*. Начать это положено было немедленно же, даже с сего же дня, если только Бенни сегодня возвратится, пока не улягутся спать. Бенни был легок на помине и позвонил в то самое время, когда его артель и гости закусывали. Заслышав его голос, нахлебники переглянулись, они оробели – почувствовали, что все-таки они мимо воли своей уважают нравственную чистоту Бенни. Но уставщик-беллетрист был гораздо наглее и оживил своим примером смелых на словах, но на самом деле оробевших нахлебников Бенни.

«Натурализованному английскому субъекту» готовился всего менее им ожидаемый русский спектакль.

Глава тридцать седьмая

– А, Бенья! – воскликнул беллетрист навстречу вошедшему хозяину и запел: «Ах, где ты была, моя не чужая?» Хор сметил, что нужно поддержать, и подхватил:

Ах, где ж ты была,
Завалилася?
На дырявом я мосту
Провалилася.
А черт тебя нес
На дырявый мост!
А черт тебя нес
На дырявый мост!

Бенни сконфузился: его за это постыдили и завели с ним срамной разговор. Он ушел, со слезами на глазах, в другую комнату, сел над столом и закрыл ладонями уши. К нему подошла вся компания и хватила над ним:

Ой, ты куда, куда, еж, ползешь?
Ты куда, куда, таковский сын, идешь?

Бесстыдная песня все развивалась, развивалась и, наконец, выговорила слова неистовейшего разврата. Бенни вскочил, бегом бросился в свою небольшую рабочую комнатку,

схватил томик Лонгфелло и начал читать, скоро и громко читать, чтобы не слышать, что поют в его квартире, «в тех самых комнатах, где стоит портрет его матери». Это ему казалось ужасно. Это перевертывало в нем все понятия о человеке и человеческой натуре; а тут анекдот за анекдотом, пошлость за пошлостью, и воспитатели твердою стопою входят и в последнее убежище Бенни. Книжка выпала у него из рук; он сел на кровать и устремил глаза на вошедших. Те стояли перед ним и распевали, как шел с кумою кум, и как оба они спотыкнулися, и что от того сделалось. У Бенни не было уже энергии, чтобы встать и выбросить за двери этих людей, нарушавших его спокойствие и отравлявших его жизнь. Он только силился помнить слова Лонгфелло и не слышать за его словами слов песни про кума и куму; но наша доморощенная русская муза одолевала американскую. Бенни прослушал все упреки кумы и многократно, на разные тоны повторенное оправдание перед нею кума:

А ты, кума Матрена,
Не подвертывайся.

Певцы, увлеченные своим пением, не замечали остолбенелого взгляда, который устремил на них злополучный Бенни, и варьировали этот конец, долго и старательно выработывая:

А ты, кума Матрена,

А т-ы, к-у-м-а М-а-т-р-е-н-а,
А т-ы, к-у-м-а М-а-т-р-е-н-а,
Не подвертывайся!

Но когда раскатилась последняя рулада и песня была спета, оказалось, что она была пета истукану: Бенни не слышал и не видал ничего – он был в жесточайшем столбняке.

Засим, разумеется, понадобился доктор, а воспитатели, удивленные несколько странным результатом своего первого урока, разошлись, пожимая плечами и повторяя с улыбкою:

А ты, кума Матрена,
Не подвертывайся.

Глава тридцать восьмая

Но и на этом еще суждено было не кончиться злоключениям Бенни. Непосредственно вслед за этою встрепкою он заболел очень серьезною болезнью и дошел до того крайнего обнищания, в котором тянул уже все последующее время, пока его, по иску полковника Сверчкова и портного мастера Федора Андреева Степанова, посадили за долг в триста шестьдесят девять рублей в долговую тюрьму, а из той перевели в тюрьму политическую.

Едва Бенни оправился от своего столбняка и начинал понемногу входить в себя, как однажды ночью в его большую одинокую квартиру (из которой артель его, лишившись во время болезни Бенни всякого провианту, немедленно же разбежалась) является к нему одна дама, бывшая у него в ученицах типографского искусства. Она чем-то поразладила с мужем и в порыве гнева и раздражения явилась к Бенни с просьбою дать ей у него ночлег. Строгое понятие Бенни о нравах и приличии было шокировано этим до последней степени; но, с другой стороны, он чувствовал, что нельзя же отослать женщину, приходящую среди ночи искать себе приюта. Бенни поручил свою гостью попечениям своей горничной девушки, некогда многоизвестной здесь в некоторых кружках московской чудихи и добрячки Прасковьи, а сам тотчас же оделся, взял у перевозчика на сенатской набереж-

ной ялик и уехал на взморье. Целую ночь он простоял против Екатерингофа, глядя, как рыбаки ловили рыбу, и возвратился домой, когда уже был день. В следующую ночь он уже надеялся иметь возможность спать в своей постели, ибо вчерашнее нашествие считал возможным только раз, в минуту крайней растерянности. Но, возвратясь на другой день домой около двенадцати часов ночи, он опять застал у себя свою вчерашнюю гостью, и... *чтобы избавить ее от всяких подозрений*, опять, по-вчерашнему же, провел ночь на ялике, на взморье, против Екатерингофа. Двое суток без сна и две ночи, проведенные на воде, под свежим морским ветром и сырыми зорями, сказались Бенни страшною простудою, которую он почувствовал на третий же день и в тот же день слег в постель, чтобы не вставать с нее очень долго. Болезнь у него была весьма серьезная и сложная, средств для лечения не было почти никаких; други и приятели все его оставили, и он лежал одинешенек, поддерживаемый единственною заботливостию той же его служанки, простой московской крестьянской женщины Прасковьи, да бескорыстным участием вступившегося в его спасение ныне весьма известного в Петербурге доктора Вениамина Тарковского (в ту пору еще молодого медика). Из всех людей, с которыми Бенни с полным великодушием делился всем, чем мог поделиться, его не вспомнил никто или по крайней мере никто не вспомнил его с тем, чтобы заплатить ему хотя малейшею внимательностию за его услуги, а вспомнили его один раз три дру-

га, но только для того, чтобы забрать у больного последние его вещи, имевшие хоть какую-нибудь ценность. Самое носильное платье его было со скандалом спасено от этого расхищения тою же его служанкою Прасковьею. При самой постели тяжело больного Бенни эта московская баба Прасковья *дралась* с социалистами, отнимая у одного прежнего сожителя Бенни последнюю теплую вещь, которую она одевала стывшие ноги больного и которую те сняли и хотели реализовать... Это не прикрасы: это истинное событие, которое знают многие люди.

Так одинокий Бенни предоставлен был своей роковой судьбе. Он обмогался медленно и плохо. Во время его болезни последние вещи его, убереженные от расхищения, пошли в залог; силы его почти не возвращались. Он постарел за эту болезнь на десять лет; лицо его получило рановременные глубокие морщины, прекрасные черные глаза его потухли, изо рта выпали почти все передние зубы. От бедного беленького бабушкиного козлика, детство которого так холили и нежили в чистеньком домике уважаемого томашовского пастора, оставались лишь ножки да рожки. Он буквально слег юношею, встал старцем. Вдобавок же ко всему этому, чтобы не был нарушен непостижимый закон, по которому беды не бродят в одиночку, а ходят толпами, дела газеты, от которой Бенни хотя и отстал, но в которой все-таки мог бы работать снова, получили самый дурной оборот.

Воскресши из мертвых после своей болезни, Бенни еще

раз тяжело сознавал свои ошибки и тяготился воспоминанием о времени, убитом им с русскими революционерами и социалистами. Его вера в русских предпринимателей получала удар за ударом: в это время некто ездил в Москву и привез оттуда роковое известие, которому, кажется, невозможно бы и верить: новость заключалась в том, что известный сотрудник «Современника» Г. З. Е<ли>сеев был у М. Н. Каткова и просил последнего принять его в число его сотрудников, но... получил от г-на Каткова отказ. Бенни был этим жестоко смущен: он, говоря его словами, всегда верил, что «если людишки и плохи, то между ними все-таки два человека есть». Эти два человека, по его мнению, были г-н Чернышевский и г-н Е<ли>сеев, из которых с последним Бенни лично даже едва ли был знаком, но об обоих имел самое высокое мнение, и вот один из них, самый крепкий, г-н Е<ли>сеев, – идет и предается Каткову, которого имени Бенни не мог переносить с тех пор, как он сам являлся к редактору «Московских ведомостей».

...Но этим еще все зло не исчерпывалось: помимо ввергнутого Бенни в отчаяние обстоятельства, что Г. З. Е<ли>сеев искал сотрудничества при изданиях М. Н. Каткова, оказалось, что этого же добивался у редакторов «Московских ведомостей» и сам Н. Г. Чернышевский и что искательства этого тоже были отклонены... Бенни бегал, осведомлялся, возможно ли, слыхано ли что-нибудь подобное, и узнал, что все это и возможно и слыхано. С этой поры его все пора-

жало: он, например, был «поражен», что Вас. Ст. Курочкин писал во время крымской обороны патриотические стихи, обращавшие на него взыскующее внимание начальства, а Григорий Захарьевич Елисеев сочинил «жизнеописание святителей Григория, Германа и Варсонофия казанских и свияжских» и посвятил эту книгу «Его Высокопреосвященству, Высокороднейшему Владимиру, Архиепископу казанскому и свияжскому». ¹² Но что уже совсем срезало Бенни, так это некоторые стихотворения столь известного поэта Николая Алексеевича Некрасова. Я говорю о тщательно изытой Некрасовым из продажи книжечке, носящей заглавие «Мечты и звуки». Я уберег у себя эту редкость нынешнего времени, и Бенни переварить не мог этой книги и негодовал за стихи, впрочем еще не особенно несогласные с поздней-

¹² Так как книга эта, может быть, знакома далеко не всем, интересующимся разнообразием дарований ее автора, то я выписываю здесь обращение г-на Елисеева к владыке казанскому и свияжскому при посвящении ему сего сочинения. Вот от слова до слова эти смущавшие Бенни строки: «Высокопреосвященнейший Владыко, Милостивейший Отец и Архипастырь! С Вашего архипастырского благословения я начал труд сей; при Вашем постоянном внимании продолжал его, Вам и приношу *сию малую лепту моего делания*. Высокопреосвященнейший Владыко! Примите с свойственным Вам снисхождением мое скудное приношение, да Вашим снисхождением ободрится к большим трудам недостойнство трудящегося. Вашего Высокопреосвященства, Милостивейшего Отца и Архипастыря нижайший послушник, Казанской Духовной Академии бакалавр Григорий Елисеев». Этот тон возмущал Бенни, и мне кажется, что такое посвящение в самом деле довольно любопытно как для современников автора, так, особенно, для будущего историка литературы нашего времени, который по достоинству оценит искренность литературных трудов этого любопытного писателя и прозорливость «снисхождения, одобрявшего *недостойнства трудившегося*». (Прим. Лескова.).

шими мечтами и звуками г-на Некрасова. Таково, например, там стихотворение, в котором г-н Некрасов внушал, что:

От жажды знания плод не сладок
О, не кичись, средь гордых дум,
Толпой бессмысленных догадок,
Мудрец: без Бога прах твой ум!

Поэт, советуя «мудрецу» не упорствовать и не изнурять себя науками, пел:

Не жди, не мучься, не греши;
С мольбой возьмись за труд по силе,
Путь к знаниям верой освяти
И с этим факелом к могиле,
Всего отгадчице, гряди.

Поучая «мудреца» идти этою дорогою, г-н Некрасов был строг и сурово наказывал «мудрецу» даже не любить людей, которые думали бы иначе идти к «отгадчице»:

И разлюби родного сына
За отступление от Творца!

Поэтической просьбы же г-на Некрасова к графу Михаилу Николаевичу Муравьеву, когда поэт боялся, чтобы граф не был слаб, и умолял его «не щадить виновных», Артур Бенни не дождался, да и, по правде сказать, с него уже довольно

было того, что бог судил ему слышать и видеть.

Бенни во всей этой нечистой игре с передержкой мысли не мог понять ничего, да и укорим ли мы в этом его, чужеродца, если только вспомним, что наши коренные и умные русские люди, как, например, поэт Щербина, тогда до того терялись, что не знали уже, что оберегать И над чем потешаться? Припомним только, что считал смешным и «комическим» Щербина, составитель весьма хорошей, если не самой лучшей книги для русского народа, стало быть человек, способный более, чем чужеземец, проникать в то, что совершалось в нашей жизни. Покойный Щербина написал:

Когда был в моде трубочист,
А генералы гнули выю;
Когда стремился гимназист
Преобразовывать Россию;
Когда, чуть выскочив из школ,
В судах мальчишки заседали;
Когда фразистый произвол
«Либерализмом» величали;
Когда мог Ольхин быть судьей,
Черняев же от дел отставлен;
Катков преследуем судьбой,
А Писарев зело прославлен;
Когда стал чином генерал
Служебный якобинец С<та>сов
И Муравьева воспевал
Наш красный филантроп Некрасов, —

Тогда в бездействии влачил
Я жизни незаметной бремя
И счастлив, что незнаем был
В сие комическое время!

Он был *счастлив* тем, что ступешался и спрятался в «сие комическое время».

Чем он обстоятельнее Артура Бенни и много ли его солиднее относился ко своему времени?

Но возвращаемся к герою нашего рассказа.

Глава тридцать девятая

Бенни порою доходил то до нервных слез, то до отчаяния, то до не оставлявших его столбняков, из которых два были особенно продолжительны и страшны. Он видел, что был кругом обманут, одурачен, разбит, оклеветан, смещен в разряд мальчишек, обобран и брошен в запомет.

Ради насущного хлеба он бросался искать работы повсюду, и тут-то он увидал, что именно было самого существенного в распространенной на его счет гнусной клевете, что он будто бы агент тайной полиции и шпион. В либеральные или либерально-фразерские издания он, разумеется, уже и не покушался идти искать работы; но и из тихоструйных петербургских газет ни одна не давала ему надежды пристроиться. Он обратился к журналам. Первую свою работу (это была очень интересная компиляция) он передал, через одного из своих знакомых, покойному редактору «Отечественных записок» С. С. Дудышкину. Но покойный Дудышкин, при всем его презрении к кружкам, из которых шли толки о шпионстве Бенни, однако же усомнился принять его и вежливо уклонился от помещения его работы. Отказ этот был сделан Бенни в самой деликатной форме, под обыкновенным редакционным предлогом; но до Бенни дошло, что Дудышкин сторонился от него по тем толкам, которые о нем были распущены бесцеремонными празднословами, и это для

него было очень тяжелым ударом. Гораздо более терпимости и великодушия оказали Бенни в редакциях «Эпохи» и «Библиотеки для чтения». Некогда сам много вытерпевший, Ф. М. Достоевский принял компиляцию Бенни и заплатил за нее, а П. Д. Боборыкин даже предложил ему постоянные переводы в «Библиотеке». В сотрудниках того и другого журнала Бенни тоже встретил и мягкость, и доверие и сам обнаруживал теплые тяготения к Н. Н. Страхову и Н. Н. Воскобойникову. В «Библиотеке для чтения» всеми силами хотели поддержать Бенни, но все это для него уже было поздно; он был уже истерзан и глядел не жильцом на этом свете. Два последние года он жил в каком-то отупении: обидные подозрения его мучили и беспрестанно напоминали ему о глупо прожитом времени; силы его оставили; у него явилась ко всему глубокая апатия, которой не рассеивала и его привязанность к любимой им русской девушке, да и эта полная глубокого и трагического значения для Бенни любовь его также его не осчастливила. Напротив, полюбя, он как бы совсем растерялся и, если так можно понятно выразиться, как бы распался под натиском незнакомого ему доселе чувства и потерял способность чем бы то ни было заниматься. Целые месяцы он не исполнял своих работ в журнал, и редакция должна была передать эти работы в другие, более аккуратные руки. Бенни остался безо всего и жил на счет займов; но, наконец, у него опять не стало ни кредита, ни платья, ни квартиры. Он проводил где день, где ночь в течение целого месяца и... бог

его знает, в каком состоянии была в это время его голова и угнетенное несчастливою любовью сердце, но он часто говорил вздор, отвечал невпопад и во все это время мечтал о том, как бы освободить из Сибири г-на Чернышевского. Какими средствами надеялся он располагать для исполнения этого плана, это осталось его тайною. Бенни, кажется, в это время был, что называют, «не в полном рассудке» и часто много и много плакал и молился.

Рано утром, в один весенний день, ночуя у меня в Коломне, против Литовского рынка, Бенни был взят под арест за долг портному Степанову и какому-то г-ну Вигилянскому, от коего вексель Бенни перешел к служившему чем-то по полиции полковнику Сверчкову, представившему на него кормовые. Вакансий в долговом отделении в это время не было, и Бенни был заключен в одиночный каземат при Спасской части. В это время для него ударил роковой час разлуки с Россией; он не хотел уходить из нее честью, – она выгоняла его насильно.

Глава сороковая

Из-под ареста Бенни уже не суждено было выйти на свободу, потому что во время его ареста за долг г-ну Сверчкову и портному Степанову в правительствующем сенате было решено дело Ничипоренки, по оговору которого Бенни был под судом, и, по сенатскому решению, состоявшемуся по этому делу, Бенни, за передержательство Кельсиева (в чем, как выше сказано, его уличил перед судом Ничипоренко), было определено «подвергнуть его трехмесячному заключению в тюрьме и потом *как иностранного подданного* выслать за границу с воспрещением навсегда въезжать в Россию». Сам Ничипоренко умер прежде, чем состоялось о нем решение, а его соратник в поездке в Лондон, акцизный чиновник Николай Антипыч Потехин, был освобожден, на основании отысканного в каких-то бумагах собственноручного письма г-на Герцена, в котором было сказано, что все, касающееся планов г-на Герцена, известно лишь только благонадежному Ничипоренке, а г-ну Потехину ничего не открыто, потому что он (приводим подлинные слова) «*добрый мальчик, но болтушка*». Это выгодное мнение г-на Герцена отворило перед г-ном Потехиным заключенные двери его русской темницы.

Содержание под арестом в каземате съезжего дома Спаской части производило на Бенни ужасное действие, тем более что он был арестован больной. Под арестом нервное рас-

стройство его достигло высочайшей степени. В маленькой, душевной, узенькой камерке с крошечным окном под потолком он томился, жалуясь на недостаток воздуха и на беспокойство, которое переносил от беспрерывно привозимых в часть пьяниц и дебоширов. В госпиталь он не хотел идти, боясь, что там будет лишен последнего удобства – одиночества, и потому он постоянно скрывал свою болезнь от тюремного начальства. В тюрьме Бенни помогал кое-чем известный добряк, так же безвременно погибший, покойный рождественский священник Александр Васильевич Гумилевский, а на выкуп несчастливца родной брат Бенни, пастор Герман Бенни, выслал деньги, но уже выкупом дела невозможно было поправить: арест перешел из долгового в криминальный. В тюрьме, во время своего заключения, Бенни от скуки читал очень много русских книг и между прочим прочел всего Гоголя. По прочтении «Мертвых душ», он, возвращая эту книгу тому, кто ему ее доставил, сказал:

– Представьте, что только теперь, когда меня выгоняют из России, я вижу, что я никогда не знал ее. Мне говорили, что нужно ее изучать то так, то этак, и всегда, из всех этих разговоров, выходил только один вздор. Мои несчастья произошли просто оттого, что я не прочитал в свое время «Мертвых душ». Если бы я это сделал хотя не в Лондоне а в Москве, то я бы первый считал обязательством чести доказывать, что в России никогда не может быть такой революции, о которой мечтает Герцен.

– Отчего вы так думаете? – спросили его.

– Оттого, что никакие благородные принципы не могут привиться среди этих Чичиковых и Ноздревых.

За сим три месяца заключения Бенни окончились, и русские жандармы отвезли его на ту самую пограничную с Пруссией станцию, откуда сибирский купец советовал ему уходить назад, чтобы сберечь свою жизнь, может быть, на гораздо более дельное употребление, чем то, которое этот «натурализованный английский субъект» сделал из нее, взяв на себя непосильный труд научить Чичиковых и Ноздревых «любить ближнего, как самого себя». Так этим и закончилась карьера Бенни в нашем отечестве. Суровое море русской жизни опять выбросило его на чужой берег.

Глава сорок первая

Но и после того как этот бедный юноша, бесплодно потратив здесь лучшие годы своей жизни, был осужден на вечное отсюда изгнание и ни у народной, ни у государственной России не осталось ничего, в чем бы она хотела считаться с отвергнутым ею искреннейшим социалистом и демократом, известная петербургская литературная партия еще не хотела покончить с ним своих счетов. Самый арест его считали или по крайней мере выдавали за *подвох* и после высылки его предсказывали «второе его пришествие во славе его»...

Но чей же был шпион Артур Бенни и кто мог убить его за шпионство на полях Ментаны?

В Петербурге утверждали вот что:

«Бенни, или Бениславский, был при гарибальдийском легионе русским шпионом, а убит за это поляками».

Какие доказательства представлялись в подтверждение этой нелепой сказки?

Никаких. «Дух анализа и исследований, дух нашего времени» вовсе не нужен, когда люди хотят клеветать.

Кончина же Артура Бенни случилась действительно не так, как ее описывали некоторые газеты, и не так, как рассказывают о ней в известных петербургских кружках.

Кроме коротких и отрывочных сведений, сообщенных о смерти Бенни газетами в Петербурге близкими покойнику

людьми, интересовавшимися знать все обстоятельства его кончины, получены сначала частным путем следующие известия.

Артур Бенни, после высылки его из России, жил в Швейцарии, где он будто бы вступил в церковный брак с тою самою русскою девушкою, которую он узнал и полюбил в Петербурге в эпоху существования *Знаменской коммуны*. В то время Артур Бенни подал о себе слух одною статьею, напечатанною им в одном английском журнале. Статья эта трактовала о России и показывала, что Бенни, даже и после прочтения в тюрьме «Мертвых душ», все-таки нимало не научился понимать Россию и все-таки думал, что социалистическая революция в ней не только неминуема, но и возможна теперь же, при наличном изобилии Чичиковых и Ноздревых. Потом, незадолго до последней попытки Гарибальди отнять у папы Рим, Артур Бенни оставил в Швейцарии жену и отправился в Италию *корреспондентом* одной английской газеты.

В качестве корреспондента дружественного гарибальдийскому делу издания Бенни находился в самом лагере гарибальдийцев. В день Ментанской битвы он выехал на маленькой тележке, запряженной одною лошадию, и тащился вслед за шедшим в дело отрядом. Когда началась роковая схватка, Бенни увлекся интересом сражения и, забираясь все далее и далее вперед, заехал в самое жаркое место драки. Это случилось в те минуты, когда гарибальдийцы, после ожесточенных стычек с папскими войсками, были внезапно окру-

жены и смяты свежими силами французской кавалерии. Изнемогавший гарибальдийский отряд, при котором находился Бенни, смешался, дрогнул и начал отступать в таком смятении и беспорядке, которое правильнее следует назвать не отступлением, а бегством. Французская кавалерия, прищипав коней, стремительно неслась в погоню за измученными волонтерами и, нагоняя расстроенные ряды их, усеивала поля Ментаны изувеченными трупами. В это время, следуя за бегущим отрядом гарибальдийцев, Бенни увидел двух волонтеров, которые с трудом уносили тяжело раненного третьего. За ними, махая обнаженными саблями, гнались три французские кавалериста. Бенни видел, что гибель всех этих людей неминуема. Он, долго не думая, соскочил с своей повозки и предложил положить в нее истекавшего кровью раненого и поскорее увезти его. Предложение это было принято и больного увезли, а *безоружный* Бенни, оставшись пешим, был настигнут преследовавшими отряд кавалеристами, из которых один ударил по нем саблей и отсек ему кисть левой руки. Помочь Бенни и перевязать ему отрубленную руку было некому, и Бенни, истекая кровью, тащился, отыскивая один из перевязочных пунктов, но не мог найти ни одного из этих пунктов, потому что все они были сбиты. Ослабев от потери крови, Бенни пал на поле битвы, где и был отыскан в бесчувственном состоянии. Плохой уход в подвижном гарибальдийском госпитале докончил остальное; легко излечимая вначале, рана Бенни скоро приняла ха-

рактер раны неизлечимой; у Бенни сделался антонов огонь и быстро прекратил его молодую, восторженную и бесчестно оклеветанную жизнь. (Таково первое сказание о его смерти, – ниже, через одну главу, следует другое, принадлежащее г-же Якоби и во многом представляющее дело иначе.)

Глава сорок вторая

Поляки Артура Бенни никогда шпионом русским не считали, и если в истории Бенни некоторое время было что-нибудь способное вводить в заблуждение насчет его личности, то это у более основательных людей было подозрение, не следует ли видеть в самом Бенни – сыне томашовского пастора из Царства Польского – подосланного в Россию эмиссара польского революционного комитета? Это было единственное подозрение, которое можно было иметь на Бенни и которое действительно и имели некоторые люди, настолько, впрочем, честные, что не решались высказывать своих подозрений прежде, чем их догадки получили бы какую-нибудь достоверность. Полагали, что Бенни подослан поляками к русским революционным кружкам для того, чтобы возбуждать глупеньких людей к беспорядкам. В пользу этих подозрений были рассказы нескольких вернувшихся в Россию из-за границы молодых ученых, которые, находясь в Париже до приезда Бенни в Петербург, знали его там *за поляка* и, встречая его потом здесь, между русскими предпринимателями, удивлялись быстрой перемене в его симпатиях, потому что в Париже они знали его одним из пламеннейших приверженцев польской революции. Один из таких молодых ученых (нынче профессор Ал – в) говорил об этом, не обвиняя, многим русским знакомым Бенни, что и стало извест-

но самому Бенни, который на это отвечал, что он действительно в Париже держался польского общества, но удивляется, как можно было от него требовать, чтобы, находясь в среде парижских поляков, он мог высказывать симпатии, противные их преобладающему чувству! Против же того, чтобы подозревать Бенни в польском эмиссарстве, служила, во-первых, его с самого первого шага видимая неспособность к политической интриге, к которой в польской партии была надобность и были великие мастера. Вновь напечатанная в полнейшей редакции книжка Гогеля «Иосафат Огрызко» (не существующая в продаже, но бывшая в руках В. В. Крестовского) хранит имена таких польских агентов в Петербурге, что при них никуда не мог годиться молодой, без положения Бенни. Было бы чересчур странно, чтобы революционный ржонд отрядил для самой щекотливой миссии в Россию человека самого неопытного и держал его здесь, после того как он, с первых же дней своего пребывания в России, прослыл шпионом и тем показал полнейшую свою неспособность к интриге. Если же думать, что тонкие и дальновидные члены ржонда игнорировали мнение, родившееся насчет их агента, и берегли Бенни для других, высших сфер общества, куда благовоспитанный, приличный и образованный Бенни мог бы проложить себе дорогу, то если допустить, что он в тех именно слоях назначался служить польской интриге, так с этим нельзя согласить ни поведение Бенни, ни поведение ржонда. Бенни только случайно попадал к людям с ве-

сом и значением и не только не старался ориентироваться в их круге, а даже тяготился этим кругом. Нельзя предполагать, чтобы Бенни так манкировал своими обязанностями или чтобы ржонд безучастливо оставлял его во всем ужасающем виде нищенского убожества, как известно, вовсе не благоприятствующего короткому сближению с богатыми и выгодно поставленными в свете людьми. Если же сделать вопрос: были ли, однако, у Бенни какие-нибудь отношения к революционному ржонду в Польше или не было никаких, то пишущий эти строки может отвечать, что они были, но это, сколько известно, были вот какие отношения. Однажды, когда автор этих записок и Артур Бенни жили вместе, на одной квартире, покойного Бенни посетил какой-то пожилой человек, весьма скромной наружности, с владимирским крестом на шее. Бенни имел с этим человеком довольно продолжительный разговор, шедший с глаза на глаз. Проводив владимирского кавалера, Бенни был взволнован и сказал пишущему эти строки, что это приходил петербургский комиссар народного ржонда. При этом Бенни рассказал также, что он уже получил из Варшавы три повестки, требующие, чтобы он явился туда к революционному начальству; но что он, не считая себя поляком, не считал себя и обязанным исполнять это требование, а теперь он *должен поехать, чтобы навсегда отделаться от притязаний, которые на него простирают поляки за его рождение в Польше*. Свое «я должен поехать» Бенни мотивировал тем, что у него в Польше живут родные

и что он хочет честно разъяснить полякам, что он их политической революции не сочувствует, а сочувствует революции международной – *социалистической*.

В эту пору Бенни был уже под судом по оговору Ничипоренки и мог выехать из Петербурга или только тайно, с тем чтобы уже никогда сюда не возвращаться, или же испросив на это разрешения начальства. Он предпочел последнее, подал просьбу о дозволении ему съездить в Польшу «для свидания с умирающим отцом». Просимое разрешение ему было дано на самое короткое время с обязательством дорогою нигде не останавливаться, а наблюдение за возвращением его было поручено в Томашове какому-то начальству. Бенни все сделал аккуратно и, возвратившись назад в Петербург, говорил, что он теперь свободен и что ржонд более никаких претензий простирает на него не будет. Сколь искренни были эти слова Бенни? – за то пишущий эти строки не отвечает, но, по привычке всегда верить честности Бенни, не имеет оснований сомневаться, что он и на этот раз говорил правду. Да и к тому же, надо признаться, цель поездки Артура Бенни и его возвращение были гораздо менее загадочны, чем его отпуск из Петербурга. Подсудимый Бенни считался здесь *английским подданным*, а между тем правительственное учреждение, снабжавшее этого *великобританского подданного* Артура Бенни отпуском в Польшу для свидания с отцом его, *подданным русской короны, томашовским пастором*, ни на одну минуту не остановилось перед разно-

подданностью этого отца с сыном! Автору этих записок казалось, что Бенни, указав на свое родство с томашовским пастором, может утратить свои преимущества иностранца в России, что с ним, хотя он и натурализованный английский субъект, могут пожелать разделаться как с русским подданным, – но этого ничего не случилось. Бенни через несколько времени и еще раз съездил, точно таким же образом, в Польшу, когда отец его в самом деле захворал и скончался, и начальство опять, и во второй раз отпуская его, не находило ничего несоответственного между разноподданством отца с сыном. Тогда Бенни, видя, что учреждения, с которыми он имел дело по своей подсудности, неуклонно намерены трактовать его иностранцем, через что его по суду могут выслать из России за границу, *подал просьбу о дозволении ему принять русское подданство*. Людям, удивлявшимся этой новой странной выходке Бенни, он отвечал, что не желает пользоваться привилегиею своего иностранного подданства и хочет принять на себя ту же самую степень наказания, какая будет определена всем русским подданным, осужденным с ним по одному делу; но ходатайство Бенни о принятии его в русское подданство не удовлетворено, и он выслан за границу как иностранец. Вот разве одно это только и может казаться в судьбах Бенни загадочным, но на это-то загадочное обстоятельство никто из много рассуждавших о Бенни людей ни разу не обратил внимания.

Бенни никогда не считал себя литератором и очень не лю-

бил, если в печати как-нибудь появлялось его имя.

– Имя мое, – говорил он, – не поздно будет назвать тогда, когда я умру и когда кто-нибудь захочет сделать *духу моему* дружескую услугу, сняв с меня тягостнейшие для меня обвинения в том, в чем меня обвиняли и в чем я не повинен ни перед друзьями моими, ни перед врагами, которых прощаю от всего моего сердца.

Теперь это сделано настолько, насколько казалось удобным в настоящее время. Гораздо большее, вероятно, будет раскрыто в другую пору дневником Бенни и его бумагами, а пока это делается удобным (что, конечно, случится не при нашей жизни), человека, о котором мы говорим, можно укорить в легкомысленности, но надо верить ручательству Ивана Сергеевича Тургенева, что «*Артур Бенни был человек честный*», и это ручательство автор настоящих записок призывает в подкрепление своего искреннего рассказа об Артуре Бенни, столь незаслуженно понесшем тягостнейшие оскорбления от тех, за чьи идеи он хотел жить и не боялся умереть.

Но остается еще сказать о том, что сделалось известно о его кончине из другого, может более достоверного источника, именно из уст одной очевидицы его смертного часа.

Глава сорок третья

Сведения о последних днях Артура Бенни и о его кончине в печати довольно долгое время останавливались на известии «Иллюстрированной газеты» г. Зотова, что «Артур Бенни, о котором ходили разноречивые и невыгодные слухи, убит при Ментане». Известие это, как оно ни кратко, снова подало повод к толкам: старинные клеветники Бенни заговорили, что Артур Бенни убит не как гарибальдиец, а как открытый гарибальдийцами русский шпион. Деятельные люди, на которых все несчастья Бенни должны лечь позорным и тяжким укором, обнаружили неслыханную энергию в поддержке этой последней клеветы на покойного несчастливца, и эта последняя вещь была бы, кажется, еще горше первой, потому что не предвиделось уже никакого следа для восстановления истины; но вдруг в июне месяце 1870 года, в газете «Неделя», №№ 21, 22 и 23, появились воспоминания госпожи Александры Якоби о ее пребывании «между гарибальдийцами». Госпожа Якоби дала Артуру Бенни очень большое место в своих воспоминаниях и притом отнеслась к нему в своих строках не только с женскою теплотою, но и с тем сочувствием, которое возбуждал у всех честных людей этот *искреннейший* молодой страдалец.

Желание сделать наш рассказ об Артуре Бенни по возможности полным и ясным заставляет нас сделать неболь-

шие позаимствования из рассказа о нем госпожи Якоби. Она встретила его в ноябре месяце 1867 года в числе раненых пленных, сваленных в каком-то скверном углу. Вот подлин-ные слова г-жи Якоби (газета «Неделя», № 23, стр. 762).

«Я заинтересовалась одною личностью, от которой не могла никогда добиться ни одного слова. Это был невысокого роста господин с темными волосами, довольно окладистой бородкой, немного рыжеватой посредине. Одет он был в лиловую гарибальдийскую рубашку. Лежал он большею частию к стене лицом и мало с кем говорил. С виду ему было лет тридцать. Подле него на столике лежали номера „Times“¹³ и несколько гидов Бедекера в красных обертках. Он был ранен в правую руку и, по-видимому, не особенно опасно. Раз я увидела, что он долго разговаривал по-английски с протестантским священником Way. Когда мистер Way отошел от него, я спросила:

– Кто этот господин?

– Это Артур Бенни.

Тогда я прямо подошла к нему и крепко пожала ему руку. Его я не знала, но была знакома в Париже с его братом Карлом. Долго проговорили мы с ним.

Все, что я буду говорить о нем, я слышала от самого покойного, подле которого я была до последней минуты.

Бенни во время сражения находился в лагере Гарибальди, куда он прибыл из Швейцарии, в качестве корреспондента.

¹³ «Таймс» (англ.).

Когда командир девятого полка был убит, тогда сын Гарибальди, Менотти, предложил Бенни команду, от которой он не отказался. Но командовать пришлось ему недолго, он был ранен в правую руку около большого пальца. В день 4 ноября он вместе с другими ранеными был привезен в госпиталь святого Онуфрия. Вот что он рассказывал мне о ночи на 5 ноября:

– Я никогда не забуду этой ночи. Вообразите, когда мы были привезены, ни постелей, ни даже соломы на полу не было. Сложивши нас всех кое-как, все удалились, кроме часовых у дверей. Помню, подо мной умирал один тяжело раненный, но у меня не было сил сдвинуться, чтобы освободить его из-под моего груза. Около меня слышались голоса, просившие пить. Часовые даже не двигались, сказав нам: „до утра“. Ночи этой не было конца. Напрасно я ждал рассвета – через окна, узкие, грязные, закрытые вечной паутиной, он пройти не мог. Утром принесли лампы, начали носить кровати, мешки с соломой вместо тюфяков. Всех нас осветили желтоватым светом. Тут я увидел по углам многих моих товарищей, плавающих в крови. В эту ночь умерло двенадцать человек. Что мы испытывали, трудно рассказать.

– Нельзя ли похлопотать перевести меня отсюда, – продолжал он. – Здесь, несмотря на ничтожную рану, умру наверное. Вы ведь всего не видите, что здесь делается.

– Отчего вы медлили так долго и не обратились ко мне с этим раньше? Вы бы давно уже были куда-нибудь переведе-

ны. Если бы мне не позволили взять вас к себе на дом, то мы бы выхлопотали перевести вас в другой госпиталь.

– У вас и без меня много дела. Есть люди, опаснее меня раненные. Да и потом, кто знает, позволят ли?

– Вам может то помочь, что вы по тем известиям, которые они имеют, не были объявлены гарибальдийцем; вас считают просто корреспондентом.

– Так похлопочите, пожалуйста.

С помощью мистера Way и генерала-канцлера мы выхлопотали позволение перевести Бенни в госпиталь святой Агаты.

В госпитале святой Агаты была отведена ему особая комната. Вообще помещением он был доволен. Подле него был доктор француз, Labord.

Разница в положении Бенни с тех пор, как он находился в новом госпитале, была довольно значительная. Он даже спустя неделю мог подолгу сидеть на своей постели и по многу писал левой рукой. У него была большая переписка с одним швейцарским городком, где жила им любимая личность, о которой он, впрочем, мне сказал лишь тогда, когда уже не мог более писать и когда я принуждена была ему читать получаемые им письма. Кроме этой переписки, он вел дневник своего пребывания в Ментане. Все эти заметки, а также и частные письма, оставшиеся после него, были захвачены и, несмотря на мои убедительные просьбы, не были мне выданы. Итак, я отправлялась к Бенни каждое утро, носи-

ла ему мясо и другую провизию и готовила ему обед сама, на небольшом столике подле его постели. Больничное кушанье пугало его. Видя его постоянно занятым, я убедительно просила его не писать много, не читать; когда у меня было время, я читала ему сама. Судя по чистому наружному виду комнаты, мне казалось, что и уход за ним должен быть хорош. Но этого-то и не было».

Г-жа Якоби описывает следующую сцену, которую она застала однажды, вступая в комнату больного.

«Бенни лежал на постели со свесившейся головой, обруч и окровавленные тряпки валялись на полу, раздробленная рука, лежавшая постоянно в вытянутом положении, сдвинута с места. Стон раздавался по всей комнате.

– Бенни, – кликнула я его, – Бенни!

Но ответа не было. Я взяла его голову, положила на подушку, дала ему нюхать спирту, обтерла лицо губкой, намоченной в уксусе. Наконец он открыл глаза.

– Затвори дверь, подойди ближе; вон видишь этот лес, сейчас оттуда выбегал тигр и больно кусал мне эту руку, но я его вот так!..

Он поднял другую руку и ударил *ею* *изо всей силы по больной руке*. Меня так и обдало холодом. Но что было делать, я села подле него и стала дожидаться, когда он придет в сознание.

Спустя некоторое время он взял меня за руку и сказал:

– Вы давно здесь? Что было со мной, не отрезали ли уже

мне руку? Что мне делать с собою? Болезнь моя не улучшается. Не лучше ли действительно отрезать руку? А что потом я буду делать? Ведь эта рука только и поддерживает мое существование.

Я спросила Танчони, который осматривал больных, о состоянии Бенни.

– Да ему давно бы уже было нужно отнять кисть руки».

Танчони г-жа Якоби не доверяла и обратилась к одному англичанину, доктору, и просила его через посредство мистера Way прийти в госпиталь.

«Когда пришел англичанин-доктор, то он, осмотрев рану, нашел, что Бенни не спасет и ампутация. Но ампутацию все-таки сделали тотчас по уходе этого доктора. Меня не пропустили к Бенни целых пять дней под предлогом, что ему вредно говорить. На такой резон я поневоле должна была сдаться и ходила только каждый день справляться о его здоровье. Ответ был постоянно тот, что дело идет как нельзя лучше. Наконец, по прошествии нескольких дней, я вошла к нему. Он был весел, показывал мне свою коротенькую руку и говорил, что ему иногда хочется почесать себе пальцы, которых нет.

– А что, как вы думаете, смерть теперь не догонит меня? Право, не хотелось бы умирать на полдороге жизни, а главное, жаль, что я ничего не сделал.

Говоря это, он пристально смотрел мне в глаза, как будто видел в них сомнение.

Действительно, он угадал; я при виде его сдерживала

неприятное чувство, которое овладело мной. Появившаяся маленькая лихорадка пугала меня, лицо его очень изменилось, глаза ввалились, нос заострился. Одним словом, я его считала покойником. В этот самый день посетила госпиталь бывшая неаполитанская королева. Между тем из Швейцарии давно писали, что хотели приехать в Рим.¹⁴ Он все отклонял.

Прежде он говорил: „Пусть тогда приезжает, когда ампутация будет уже сделана“. А потом думал: „Нет, лучше тогда, когда поправлюсь. Что она будет делать в незнакомом городе, не зная языка“.

Но она не ждала ответа и прислала депешу, что уже выехала. А ему между тем становилось все хуже. Телеграммами мы менялись два раза в день (она, к несчастью, заболела в дороге). В первый день Рождества, к вечеру, ему сделалось очень худо, так что *он потребовал к себе священника и в десять часов вечера причастился*. На другой день я пришла к нему; он был очень слаб и еле узнал меня.

– А, вы снова здесь. Подойдите, ведь я не так еще страшен. Что вы ей ответили на депешу?»

Перемолвясь об этом, Бенни сказал г-же Якоби:

– Только бы поправиться, как бы мне хотелось вернуться в Россию: *я рад, что, встретя вас, могу говорить по-русски*.

«27 декабря я была у Бенни около десяти часов. Лихорадка била его страшно. Лицо совершенно осунулось. Подборо-

¹⁴ Это «писали», очевидно, касается молодой особы М. Н. К., пользовавшейся глубочайшею привязанностью Артура Бенни. (Прим. Лескова.).

док как-то надвинулся к носу.

– Бенни! – окликнула я его, проведя рукой по его уже совершенно холодному лбу.

Он губами прикоснулся к моей руке, и несколько крупных слез выкатились из глаз.

– Теперь я действительно умираю. А она... вы сказали, что приедет к одиннадцати часам, ну я и старался дожить, но не могу.

Это было его последнее слово. Агония продолжалась до двух с половиною часов пополудни. Тотчас после смерти с него был снят прекрасный портрет масляными красками, который и был передан г-же К... 29-го его похоронили на протестантском кладбище; в могилу его, прежде чем засыпать ее землю, мы набросали красных и белых цветов, перемешанных с зеленью, – то были национальные цвета Италии».

Глава сорок четвертая

Таков рассказ очевидицы последнего томления и смерти Артура Бенни – рассказ, которого, кажется, уже нет никакого повода заподозривать в несправедливости, пристрастии или натяжках, тем более что все это подтверждается по деталям рассказами известных людей, как Ивана Сергеевича Тургенева и Петра Дмитриевича Боборыкина.

Покойный Бенни писал к обоим этим лицам письма после своего увечья левою рукою и вообще выражал ту любовь к русским и к России, о какой свидетельствует бывшая при его последних минутах г-жа Якоби. Покойный Артур Бенни, испив до дна горькую чашу уксуса и желчи, смешанных для него пылкими увлечениями его восторженной и альтруистической натуры и коварством злых людей, маскировавших сочиняемыми на него клеветами собственную малость и ничтожество, пришел к тем же самым разочарованиям, какие видим в посмертных записках учителя его, Александра Герцена, человека даровитейшего и тем не менее объявлявшего, будто он «создал в России *поколение бесповоротно социалистическое*». Опубликованные посмертные записки Герцена показали, что у него не доставало *смелости* сознаться, что он ошибся и что «поколения бесповоротно социалистического» на Руси нет, а Скотинины, Чичиковы и Ноздревы живы. Покойный Бенни, оказывается, был гораздо его искреннее, и И.

С. Тургеневу с П. Д. Боборыкиным известно, что Артур Бенни не только хотел просить у государя прощения и дозволения возвратиться в Россию, но его даже видели уже занятым окончательною редакциею письма к графу Петру Андреевичу Шувалову, через которого он намерен был направить свое ходатайство к императору. Судьба решила все это иначе.

Дописывая эти последние строки о моем усопшем друге, я хочу сказать короткий ответ тем, кто недоволен этою повестью и протестует против ее появления. Эти болезненно щекотливые люди между прочим говорят, что они не видят никакой надобности в оглашении этой истории; я же вижу в этом несколько надобностей, из коих каждая одна настоятельнее другой: 1) я хочу изложением истории похождений Артура Бенни очистить его собственную память от недостойных клевет; 2) я желаю посредством этой правдивой и удобной для поверки повести освободить от порицания и осуждения живых лиц, терпящих до сих пор тяжелые напраслины за приязнь к Бенни при его жизни; 3) я пытаюсь показать в этой невымышленной повести настоящую картину недавней эпохи, отнявшей у нашей не богатой просвещенными людьми родины наилучших юношей, которые при других обстоятельствах могли бы быть полезнейшими деятелями, и 4) я имею намерение дать эту живую историю всякому, кому попадется в руки эта скромная книжка, такое чтение, в коем старость найдет себе нечто на послушание, а молодость на поучение. Ошибочны или нет мои соображения,

но худа эта книга никому сделать не может, а малую пользу может принести хотя бы указанием на следствие увлечений, которые будут повторяться до скончания века, точно так же, как и человеческое злословие и клеветы.

Изменяя с годами и с событиями свои взгляды и убеждения, иногда не бесполезно отойти и поглядеть, с кем мы продолжаем сидеть, – не бесполезно вспомнить тех,

Кто истину искал,
И тех, кто побежденный пал
В толпе бессмысленной, холодной,
Как жертва мысли благородной.

Впервые опубликовано – газета «Биржевые ведомости», 1870.